

\* Н \* В \* П \*

Н О В А Я П О Э З И Я

ФАИНА  
*Гримберг*  
ЧЕТЫРЕХЛИСТНИК  
ДЛЯ МОЕГО ОТЦА

НОВОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ



\* Н \* В \* П \*

Н О В А Я П О Э З И Я

ФАИНА  
Гримберг

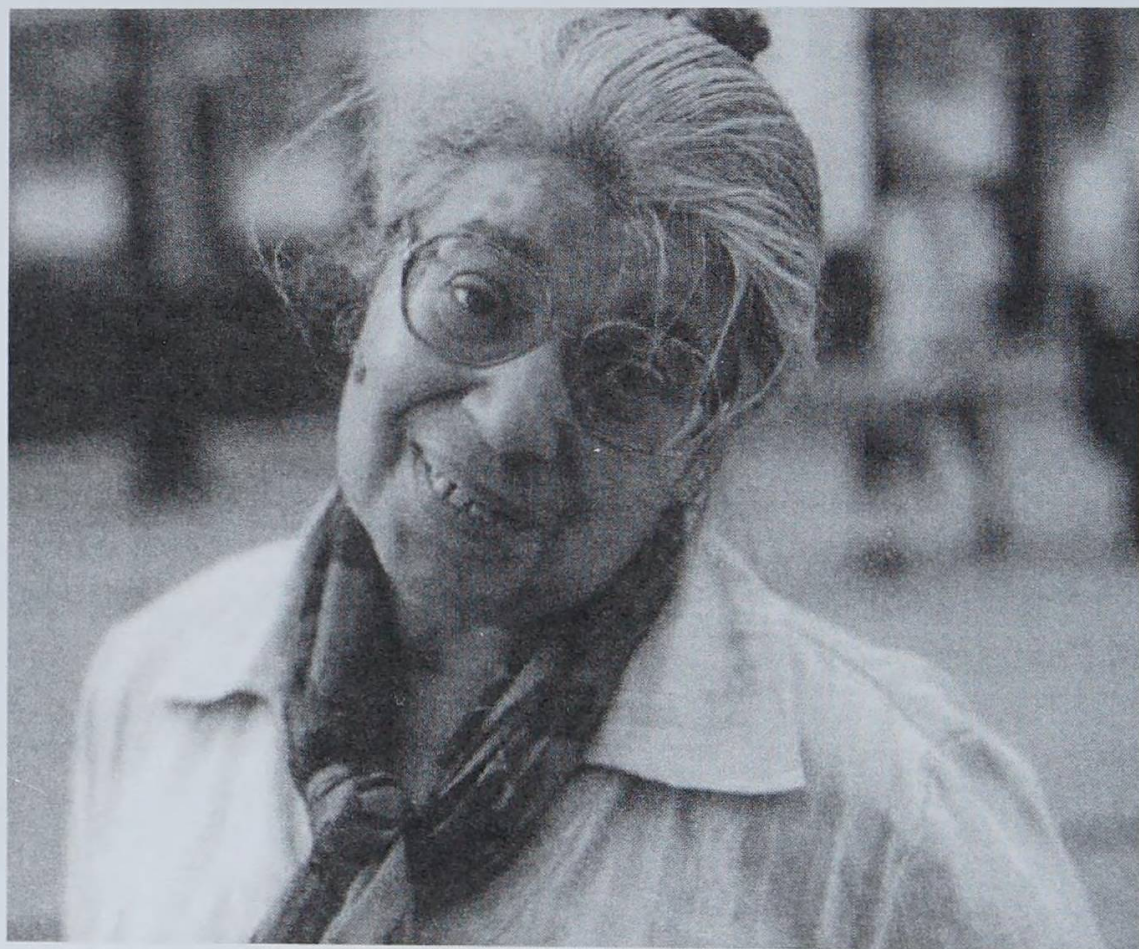


Вязем  
Дистрибутор  
Обзорчик

МОСКВА 2012

\* H \* B \* U \*

H E R B E R T



---

---

ФАИНА  
Гримберг

\*

*Четырехлистник  
для моего отца*



Новое  
Литературное  
Обозрение

МОСКВА 2012



УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Г 85

- Г 85     **Гримберг, Ф.**  
Четырехлистник для моего отца: Стихотворения / Фаина Гримберг; предисловие Виктора Іваніва. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 384 с. (Серия «Новая поэзия»)

**ISBN 978-5-86793-977-9**

Фаина Гримберг родилась в 1951 году в Акмолинске (ныне столица Казахстана Астана). Окончила филологический и заочно исторический факультеты Ташкентского университета, специалист главным образом по истории Балкан, автор ряда научно-популярных книг по истории России. Среди нескольких десятков романов Гримберг (опубликовано свыше 20) также немало исторических, многие печатались как мистификации, от лица различных изобретенных писательницей зарубежных авторов. Фаине Гримберг принадлежат также переводы с английского, болгарского, греческого и др. Опубликовано две книги стихов: «Зеленая ткачиха» (1993) и «Любовная Андреева хрестоматия» (2002).

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

- © Гримберг Ф., 2012  
© Іванів В., предисловие, 2012  
© ООО «Новое литературное обозрение»,  
оформление, 2012

# *Вспоминая забытое доказательство*

Ни хрупкие тени Японии...

*В. Хлебников*

## 1.

Всякая осведомленная в майевтике повитуха всякий раз щеголяет в новом облачении истины, в ее покрывалах. Заведенный календарь, где приход утра обозначает пение птиц, оставляет только семь дней, каждый из которых облечен в свой возраст — будь то семь дней, в которые Гильгамеш оплакивает Энкиду и сжигает его, будь то семь дней космогонии, будь то аллегория семи возрастов женщины.

В первой части своей книги Фаина Гримберг словно бы приподымает подол танцующей плясуньи — куколки, внутри которой пустота, — и нам являются брови и улыбки Древнего Востока, завершенное басенное христианство, кораническое пение деревьев, солнечный и лучезарный амур — или другой бог, умирающий на древней сосне, к которой, как в сказке про путешествие на тот свет, сносят, идучи, железные башмаки две женщины. Их всегда две, как во встрече Марии и Елизаветы, как во встрече Памяти и Психеи, как во встрече с лучезарным ребенком, с юношей с обожженными устами, с безвременным стариком.

Темный медиум-даймон, который помогает оживить умершую мумию степной царицы, вдвует голос в уста каменной степной бабы, он озаряет темным светом ночного солнца. В пении этой книги образы очищаются до лучезар-



ного света, вскормившего летящее тело возлюбленного, это письмо дарит дни и светлые комнаты. В календаре Фаины Гримберг каждый день проживает целую жизнь, и это солнце никогда не закатывается.

Дудочка-свирель, которая выдувает песню о смерти юного бога, выводит на сцену и других оркестрантов, — но сам музыкальный строй, его кантилена, его напевность — словно бы слетает со страниц книг Михаила Кузмина и открывает путь именно для этого, особенного, религиозного и священнодействующего лада песни. Современник Фаины Гримберг Николай Кононов согласился бы с ней — и тогда Кузмин звучал бы на два голоса: бесполом голосом любви, голосом мчащегося Аттиса, и голосом Адониса, возвращающегося из царства мертвых.

Герой Гримберг — воскресающий и возвращающийся бог Андрей Иванович. Его имя и отчество заставляют вспомнить и персонажей Даниила Хармса: не имеющих существования вне своего христианского имени — но обретающих игрой пения и солнечного света прекрасные тела. Отчасти этот герой связан и с мифом Елены Гуро, но он летит, как спящий ветер, через все возрасты, он омыт слезами, а ноги его вытерты косами и мазаны миром. Лирическое песенное начало Кузмина у Фаины Гримберг встраивается в широкую картину эпоса, где Геродот и Хлебников узнают друг друга и улыбаются друг другу.

Пища, хлеб, вино из зерна в поэзии Гримберг являют тот простой поминальный обряд, который преображает похлебку в поистине райские плоды. Это астраханский лотос, который вместо сна и забвения до предела обостряет память, ослабляя ее внимание к календарному времени. Обычная трапеза оказывается способна обратить время вспять, а не только, как в пушкинском «Гробовщике», собрать и потчевать потусторонних гостей. Так черемуховый пирог или даже конфета из чернослива говорят нам о возможности повторения прошлого, но не такого, а иного.

Мне доводилось слышать истории о голодном Ленинграде, где люди пожирали глазами наготу Эрмитажа. Подобная жажда жизни сближает стихи Гримберг из первой части

книги (где в русском Брюгге из картин являются голландские мастера) с известным стихотворением Пушкина, посвященном художнику Дау, который рисовал людей «как живых», но, несмотря на эту живость, их лица томили поэта «грустию тяжелой».

Ведь даже самые экстатические и беспримесные образы Фаины Гримберг, уложенные в «лесенки-песенки в сердце другое», словно отряхают пыль и прах, присохшие к иверням живой конницы строк.

## 2.

В путешествии «по направлению к Свану» у Фаины Гримберг вы не найдете ничего из Марселя Пруста, а обнаружите вдруг гремучую смесь, как в погремушках Геракла — черную и белую змейку. Но вам не достанет сил задушить их, если вы прочтете портрет кладбищенской безумной нищей, красавицы Таты — историю, которая сгорает быстрее цыганской сигареты *Gitane*, которою затягивается героиня. И если вам хотя бы раз доводилось стоять на сломе поколений и слышать торжественные поминальные речи о том, что в гробу вы видите совсем другой, искаженный образ человека, сколько роз и пихты ни кидали бы в этот гроб, сколь ни светло было бы отпевание — или, напротив, сколь бы ни были утешительны слова священника в мрачном сатанинском обряде сжигания —

Вы увидите пляшущую, от лоз вкусившую горечи красавицу, ее бездонную опрокинутую тень, и ее второй возраст — полный слов языка, любви к словам языка, дружескую руку, светящиеся молодые глаза. И тогда, прежде чем вознести очередную чарку, цыганская пляска *Gitane* в дымке папиросы опять прозвучит для вас как пушкинское «чарка выпита до дна».

Образ виноградной любимой красавицы, обращенной в кладбищенскую нищую с безумным бешенством глаз, созданный Фаиной Гримберг, показывает тот парад предстояния, в двух ипостасях являя одно, создает двухголосый хор:



именно так пляска смерти, исходящая из горла простоватого могильщика, «накладывает руки» и «отворяет жилы» любовной песне, не знающей горя. Найденный Гримберг портрет отобразится в тысячи зеркал — преодолевая два смертные порога и помня, что третий — еще впереди, необоримый, он ждет нас самих как тайная встреча.

И эта тайная встреча может быть обещана — как не убиваемое ничем, светлое, снимающееся лицо — единственное, что остается от «бархата голоса и штанов», от дорожной пыли, от марева и лихорадок глубокого прошлого. Лицо — самое частотное слово в поэзии Фаины Гримберг. Вот оно:

*Лицо  
любимой —  
ты лицо  
далёкого Ирана.  
Лицо любимой — ты лицо большого каравана.  
Лицо любимой — ты лицо дурмана,  
Лицо любимой — волжское лицо —  
ты лицо Рабии, Разии, Сании...  
Как вырвемся однажды на Итиль!..  
Мы разорвём судьбы зелёное кольцо...  
Лицо любимой — ты моё лицо.*

3.

Книга Фаины Гримберг по-новому ставит вопрос о литературных жанрах и их происхождении. Том стихов вбирает в себя и бесконечное пробуждение под виселицей, как у Потоцкого, приключения греческого романа, в нем слышится «Песнь о Тристане» и «Рейнеке Лис», «Декамерон» и «Гептамерон», и даже несколько раз пародийно названный тошнотворным «Евгений Онегин», «Мои предки» Кузмина и «Мои читатели» Гумилева.

Однако если точно определить жанр каждой отдельной вещи, составившей эту книгу, — это будет *необычайно длинное стихотворение*. Настолько необычайно, что оно вмеща-

ет в себя эсхиловскую или шекспировскую трагедию. Жанр лирической песни и жар мусикийской лихорадки оказывается опрокинутым — не огромный роман (драма) состоит из небольших деталей, наоборот, одна первоначальная деталь показывает оборотную сторону истории литератур. Трагедия возвращается к своему лирическому началу, к мелике, двухголосной и одноголосной. Эти стихи можно характеризовать как *голос*, иносказательно-литературно чувствовать как *мелос* или исследовать как *идиостиль*, но одно останется верным: какую бы рифму мы ни подбирали к слову любовь, это слово будет означать одно: слово *любовь* будет означать здесь «любовь», как бы вы ни проштудировали историю вопроса.

В заключение следует назвать еще одну особенность литературной игры, которая идет на этой доске, на которой пляшет невидимая плясунья. Фаина Гримберг не направляет читателя в бесконечный гипноз, не показывает точный выверенный математический и загробный метемпсихоз, но ее стихи по-новому доказывают известную формулу Хлебникова: «перед смертью жизнь мелькает снова, но как-то скоро и иначе». Подобные формулы мало затвердить назубок, нужно вспомнить доказательство. Это доказательство — сама жизнь, которая возобновляется у нас на глазах, прокатывая серсо детства человечества, — и александрийская красавица, гречанка, цыганка в мандельштамовском полушалке всякий раз оказывается девочкой, прибегающей из «дидаскалона в старинных китайских кедах».

*Виктор Іванів*



1

И белая радостность крупных зубов, мгновенно-яркая;  
и белизна свежая,  
потому что весна яблоневой цветущей ветки.  
На одно мгновение — вместе —  
в чьём-то большом едином дыхании мы живём.  
Распушились мягкие меховые иглы над этими чёрными  
раскинутыми бровями,  
и вот я быстро взгляделась в насмешливый чёрный блеск  
ресниц  
и увидела выпуклые смуглые веки.  
И сразу опустила глаза  
и увидела взрослые чёрные туфли, закрытые, без шнурков;  
Зато у ворота вились лёгкие зелёные шнурки...  
Зима и весна,  
живые,  
за руки держатся,  
прямо ко мне делают несколько шагов...  
Яблоко лица,  
ты послушай меня,  
мне хочется медленными умилёнными губами целовать  
обе твои щеки..  
Мальчишеский кадык —  
живая косточка под кожей тугой —  
тонко и жёстко.  
Телесная сила и вытянутость —  
мальчишески-учащённое биение сердца.  
Чёрные брюки узко морщатся в подколенках —  
длинные худые ноги подростка.  
Сморщилась темнота шерстяного носка и видно светлую  
щиколотку —  
волоски острые светятся...  
Юноша и не видит меня, и не знает обо мне,  
и не захочет знать.  
И если его губы совсем раскроются и слово произнесут,  
это будут не губы человеческие,  
а лишь одна страшная звериная пасть.

Но разве это всё значит, что я должна с закрытыми глазами  
жить,

как будто без снов тяжело спать?

Нет, я раскрою свои глаза и стану солнечные лучи сама  
прясть...

Ведь это, чтобы я что-то чувствовала,  
чтобы вдруг сама себе нравилась,

Мне посылается, дарится Лазарь такой,

Незаметно, кем-то,

чтобы я проснулась и радовалась

В этом вагоне, от одной станции до другой...

Это какой-то чудный и необъятный Завет;

И понять его,

так же как и вдруг обняться,

мы не можем.

Двери уже закрылись,

и стало мое задыхание,

потому что пылиночный солнечно-детский свет

Мне одной виден секунду

над этим пустым сиденьем кожаным.

**Андрей Иванович  
возвращается домой**



## *Андрей Иванович возвращается домой*

Жизнь затмевается,

становится тюрьмой;

Всё в этой жизни станет мелкой кутерьмой.

Всё кончилось.

И больше нет для нас пути.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Сначала круглолицый мальчик был.

Но он ушёл однажды,

он уплыл.

На пароходе по реке уплыл.

И больше нет его совсем,

а был.

Потом он молодой красивый был.

Красивый был, светловолосый был —

мы приговариваем со слезами.

Он был красивый, пестроглазый был,

с такими серыми и пёстрыми глазами.

Такой красивый был,

такой любимый был!

Андрей Иванович не возвращается домой.

Все трудные задачки по геометрии Андрей Иванович решал,

Андрей Иванович «Трёх мушкетёров» прочитал.

И вот некому задачки решать,

некому книжки читать.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Повестка Андрею Ивановичу пришла,

повестка мальчику уже пришла.

Его забрали в армию,

отчислили его из института.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Так долго Андрей Иванович в армии служил,

так долго в самой разной армии служил.

Так долго, далеко, всегда пешком ходил.

Пешком ходил и разное оружие носил.

Он в самой разной армии служил,

оружие носил.

И вот теперь Андрей Иванович не возвращается домой.

Уже прошла столетняя война,

и семилетняя прошла война,

и пятилетняя закончилась война;

уже прошла трёхлетняя война.

И началась ещё одна война.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Уже вся артиллерия прошла,

уже бомбардировка вся прошла,

вся дикая дивизия прошла.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Уже монгольские войска прошли

и чёрные знамена пронесли.

Уже все русские войска прошли.

Прошли полки

и пронесли штыки.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Военные проплыли корабли,

по рекам все проплыли корабли.

Шли впереди

норманнские ладьи.

И танки по дорогам шли

в пыли.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Уже строительный открыли институт,

и железнодорожный институт;

ещё какой-нибудь открыли институт.

Хотят его зачислить снова в институт;

всё объясняют,

извиняются,

стипендию дают.

Но нет,

Андрей Иванович не возвращается домой.

Мы ждём его,

уже проходит целый год.

Уже давно закончился поход.

Все возвращаются,

приходят понемногу.

Где мой родной,

мой золотой,

любимый мой?

Мы так стоим и смотрим на дорогу.

Андрей Иванович не возвращается домой.

И целый день мы ждём,

и целый месяц ждём.

Два года ждём,

и много лет мы ждём.

И без платков —

под снегом и дождём,

и без пальто —

под снегом и дождём,

и без плащей —

под снегом и дождём.

Всё время ждём,

его всё время ждём,

И каждый день выходим на дорогу.

Где мой родной,

мой золотой,

любимый мой?

Все возвращаются,

приходят понемногу.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Мы ждём,

всё время ждём.

Мы думаем:

когда же он придёт?

Мы думаем:

когда же он придёт?

И мы не знаем, почему он не идёт.

И мы не знаем, почему он не приходит.

Мы ждём,

всё время ждём.

Мы думаем:

вот-вот произойдёт,

вот что-нибудь вот-вот произойдёт.

Но нет и нет,

оно не происходит.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Мы ждём и ждём,

его всё время ждём.

Надежды никакой не остаётся.

Но всё равно мы ждём

под снегом и дождём.

И наконец-то страшный голос раздаётся

и говорит:

«Не надо больше ждать,

любимый не вернётся.

Всё кончилось.

Не надо больше ждать.

Любимый не вернётся,

не вернётся.»

Андрей Иванович не возвращается домой.

А этот голос дальше говорит:

«Он все свои походы отходил.

Он обессилел, у него не стало больше сил,

всех сил не стало,

ни в душе, ни в теле.

Но разве вы не этого хотели?

Ведь он ругался грубо,

пьяным тоже он бывал.

Он всех захватывал и убивал.



Но как-то незаметно слабым стал,  
и сам теперь нуждается в защите.

Идите, если хочется,  
ищите.

А лучше не ищите  
и не ждите зря.

Всё кончилось.  
Любимый не вернётся.

Надежды никакой не остаётся.

Летите,  
улетайте за моря».

Андрей Иванович не возвращается домой.

Но мы,  
мы говорим, кричим в ответ:

«Неправда!  
Всё неправда.

Он хороший,  
добрый,  
очень умный был.

Совсем не пил,  
Марину Марковну не бил.

Он замкнутый, застенчивый, самолюбивый был.

Талантливый,  
такой способный был.

Он всё умел,  
ведь он механик был.

Он книжку написал.  
Косилку изобрёл,  
чтобы траву косить.

И на коленке целый фотоаппарат собрал.

И всё чинил.

А сам такой,  
не очень был высок,  
и был худой.  
И скулы выдавались,

брови нависали, чуть кустились над глазами.

И о голосе моём сказал,

я это помню,

«ГОЛОСОК».

И вот ещё сказал:

«...вам будет душу греть...»

И вот ещё сказал:

«...я сделаю с любовью...»

Не так уж много доброго мне говорят,

и потому его слова я помню.

Это будет всё в моей душе гореть, гореть.

От самой страшной боли не погаснет,

не прольётся с кровью.

Зачем, зачем Андрей Иванович не возвращается домой?

Зачем не возвращается?

Как солнышко он был,

всё освещал.

Он ясный был,

всё озарял;

и всех, кого любил, он защищал.

И вот он весь в моей душе неопалимый.

Был добрый, ласковый,

«родная» говорил.

Любимый был!

Он и сейчас любимый.

Обидит, скажет плохо —

всё равно любимый.

Зачем, зачем Андрей Иванович не возвращается домой?»

Тогда опять нам этот голос говорит:

«Но всё равно он больше не придёт.

Он больше не придёт,

теперь он на крутой горе растёт.

Теперь он на большой горе растёт,

он больше не придёт.

Теперь он стал высокий,

он стоит прямой всё лето, осень, зиму и весну.  
Теперь он превратился в дерево, в сосну,  
в большие ветки превратились руки.

Андрей Иванович больше не придёт.  
И это называется в природе и в науке:

круговорот».

А мы тогда подумали смиренно:  
«Что нам делать,

пусть хотя бы так.

Наверное, там под корой древесною стучит сердечко.  
Там птицы разные поют на ветках.

Там к нему летят на легких крылышках

полезные хорошие  
древесные жучки.

Там, высоко, где зелень вся густая,

мы увидим, различим его лучистые глаза,

его зрачки.

Вокруг зрачка — такое золотистое колечко».

Все мысли прервались.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Пойдём искать его,

пойдём, моя подруга.

Ты теперь моя подруга.

В тоскливом сердце замкнутого круга —

ты моя подруга.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Тогда надели мы железные чулки,

железные надели башмаки.

Так собрались.

И взяли мы из всех вещей ненужных, бесполезных

один мешок с трагической судьбой,

одну тоску для нас двоих.

И каждая из нас взяла с собой

шесть пар ботинок запасных железных.

И мы с Мариной Марковной вдвоём пошли.

На гору на высокую пошли.  
Мы перестали обижаться друг на дружку  
и пошли.  
Оставили обиды и пошли.  
Ведь всё равно Андрей Иванович не возвращается домой.  
Нет,  
вы не знаете, как всё бывает,  
нет!  
Семь пар железных туфель мы сносили.  
Пошли на солнечный, на лунный свет.  
Прошли сто лет,  
и много сотен лет,  
и тысячу прошли,  
наверно, лет.  
Всех спрашивали с плачем,  
всех просили.  
Андрей Иванович не возвращается домой.  
И нам сказали, не вернётся никогда.  
И нам сказали, не вернётся никогда.  
И нам сказали, не вернётся никогда.  
Андрей Иванович не возвращается домой.  
Сказали,  
нет нигде такой горы,  
а есть беда.  
И дерева такого нет нигде,  
а есть нужда.  
И существует смерть!  
И никогда  
любимый не вернётся,  
не вернётся.  
Андрей Иванович не возвращается домой.  
Сказали,  
есть беда,  
и есть нужда.  
И существует смерть.



И больно — ноги.

Сказали,

не вернётся никогда.

Идти, идти —

и умереть в дороге.

Андрей Иванович не возвращается домой.

Не возвращается.

Но разве мало было нам заботы неизбывной,

чтобы хлеб

и чтобы этот самый кров над головой?

За что,

зачем ещё душе терпеть такие муки?

Идти, идти —

и больше никогда не встретиться с тобой?

Идти, идти —

и умереть в разлуке?

Андрей Иванович не возвращается домой.

Не возвращается.

Нет,

пусть никто о нём не говорит!

Нет, пусть никто о нём не говорит.

Когда о нём хоть кто-то говорит,

чужой

случайно

что-то говорит —

на кровь, на сухожилия —

горсть соли.

Так больно, страшно,

сердце так болит.

Так больно, больно,

так душа болит.

Идти, идти —

и умереть от боли.

Андрей Иванович не возвращается домой.

И мы с Мариной Марковной вдвоём пошли.

Куда — не знали —

наугад пошли.

На гору на высокую пошли.

Но где искать её —

совсем не знали.

Мы просто по дороге шли и шли;

чтоб не было так больно,

шли и шли.

Куда —

не знали сами —

шли и шли.

Ведь всё равно Андрей Иванович не возвращается домой.

И мы на гору на высокую пришли.

К подножию горы высокой мы пришли.

И мы пришли

и встали у подножия горы.

А на горе Андрей Иванович стоит.

Он там растёт,

всей кроною шумит.

Он, превращённый в дерево,

стоит.

Стоит он с незапамятных времён.

Забыл,

не помнит всех своих имён.

Порубленный мечом,

пробитый пулей.

Душа его мертва —

не ожила.

Вокруг него летит одна пчела.

И на плече его —

дупланка-улей.

Одна пчела летит вокруг него,

а он не видит и не слышит ничего.

И никогда не возвратится он домой.

И мы с Мариной Марковной идём,

мы поднимаемся,  
мы вверх идём.

Мы задыхаемся,  
идём быстрее.

Верхушка дерева дрожит,  
колышется,  
как будто дышит.

Мы задыхаемся,  
кричим:

— Андрей!

Но нет, напрасно мы кричим ему:

— Андрей!

Зовём:

— Андрей! —

он всё равно не слышит.

И никогда не возвратится он домой.

Навеки в землю тёмную зарыт.

Сказали нам,

убит,

убит,

убит!

Гроб для него поставлен,

дом без окон.

Он в том гробу лежит,

в земле закопан.

И дерево огромное растёт,

стоит.

А нам хотят внушить, что это он и есть.

И думают, что вот она для нас,

благая весть,

чтобы тоску отчаянную нашу навсегда умерить.

Но мы ведь женщины!

И мы не верим в это,

мы не можем в это верить.

Одно большое дерево стоит.

А мальчик под землёю крепко спит.  
А мальчик под землёю смертно спит.  
Он под землёю непробудно спит.  
Андрей Иванович не возвращается домой.  
Но, Господи, ведь это же не он!  
Не говорите нам, что это он.  
Не говорите нам, что есть такой закон,  
один для превращений всех закон.

Круговорот —

жизнь движется кругами.

Зачем придумали такой закон?

Зачем придумали плохой закон?

Не говорите нам, что это он.

Ведь это дерево,

ведь это же не он.

Он был живой,

с ногами и руками.

О Господи, ведь это же не он!

И мы напрасно шли.

Андрей Иванович травинкой не взойдёт.

Андрей Иванович цветком не прорастёт.

И птицей он в лесу не запоёт.

Всё это ложь и глупости.

А правда вот:

Андрей Иванович больше не придёт,

моя душа его не узнаёт,

и, значит, он не возвращается домой!

Пусть говорят, что он пройдёт по временам,

пройдёт по самым разным именам.

Пусть говорят «круговорот»,

а нам

такого утешения не надо!

И неужели это всё,

конец?

На той горе, которая



Венец.

И неужели это всё,

конец?

Андрей Иванович не возвращается домой.

Но можно ведь сначала всё начать!

Мы начинаем плакать и кричать.

Зачем, зачем ты умер?

Будь опять!

Зачем тебя убили?

Будь опять!

Так начинаем плакать и кричать.

Напрасно разве мы прошли весь этот страшный путь?

Опять красивым будь,

опять любимым будь.

Ведь не напрасно мы прошли весь этот страшный путь.

Но нет,

Андрей Иванович не видит и не слышит ничего.

И, значит, мы напрасно долго шли издалека.

Мы плачем горько,

наших слёз течёт река.

Мы плачем горестно.

Мы время не вернём и не догоним.

Мы плачем горько,

наших слёз течет река.

Мы понапрасну долго шли издалека.

Всё кончилось.

И мы в реке утонем.

Андрей Иванович не возвращается домой.

А слёзы, как река, текут.

И вдруг течёт вода,

плывёт весна,

и под водой скрывается сосна.

Вода течёт,

течёт,

и прибывает.

Всё потому, что начинается весна.

И под водой скрывается сосна.

И из воды ребёнок выплывает.

Мой маленький, родной,

любимый мой,

пойдём домой,

пойдём со мной домой!

И плачем неизбывными счастливыми слезами.

Он круглолицый, маленький такой;

глядит,

нахмурился;

а вырастет большой,

с такими серыми и пёстрыми глазами.

Он маленький, а вырастет большой;

с ногами и руками,

и с душой.

Он маленький, а вырастет большой.

А мы с Мариной Марковной вдвоём идём.

По очереди на руках его несём.

Тропинки солнечные выбираем.

Закутываем и на солнышке несём,

и чистым полотенцем вытираем.

И вот уже мы все с горы идём.

И он идёт,

и мы его ведём.

Иди, мой золотой,

любимый мой.

Всё кувырком,

и мы остались босиком.

Но это ничего.

Андрей Иванович возвращается домой.

## Памяти Бориса

Тонкоглазые персидки  
сухорукие жены тороков  
Андрюха воткнул нож  
убегали  
совсем полетели  
в одну разъярённую степь  
Андрюха воткнул нож  
А куда караваны откуда  
Нагрузились верблюжьи горбами ковры  
А догнать  
прокатился подальше  
Андрюха воткнул нож  
Всех стреляли  
перебегали в песчаных горах  
Андрюха воткнул нож  
И вышел один с белым флагом  
Андрюха воткнул нож  
Кто вы, такие синие глаза?  
Какие синие глаза, кто вы?  
Андрюха воткнул нож  
И если  
связать все руки  
заговорит сразу  
и встанет комната сына  
пишет, читает, рисует  
Львы легли перед всеми вратами  
Андрюха воткнул нож  
А расскажете сказку?  
И ладно!  
Пошли через пустыню песок  
Долго пошли  
Перешли

Голодные рис переели  
Поплыли в море  
Андрюха воткнул нож  
А вода синяя, как твои глаза  
А скажи, отчего синяя такая вода в море?  
Андрюха воткнул нож  
Правь исправь парусом  
И сам себя увози в плен  
А где научился плыть?  
Расскажи Андрюхе сказку  
Андрюха воткнул нож  
Голубое море кидалось  
        такое синее  
Андрюха воткнул нож  
Глядите  
        острова жёлтые шлёпались  
Полетели полетели  
Один корабль повернулся парусами вниз  
Андрюха воткнул нож  
И поплыли ногами руками  
Подожгли золотую жирную рыбу  
        осветились  
        вовсю отогрелись  
Андрюха воткнул нож  
Синие глаза рассказали ему  
        одну очень длинную сказку  
Пойдём куда-нибудь сниматься на фотографию  
        Дмитриеву Карелину Грекову  
        поедет конка Нижний Новгород  
Андрюха воткнул нож  
На яхте от Петербурга на Крым пошли  
        быстро зафрахтовали чего-то корабль  
Все удивляются: Что за парни!  
Андрюха воткнул нож  
Будем кушать вишни скалывать лёд

Встал первым на пути радости его  
Андрюха воткнул нож  
На поклоне лета любим сильнее  
а зато солнце когда холодно  
И сидит на полу Андрюха  
разбирает грудку писем  
Андрюха воткнул нож  
Горько плакал и сразу на всех берегах  
Такое рабство барство  
гадость какая!  
Андрюха воткнул нож  
И поскакали на конях  
Глупая Сашка подняла чугунные ноги  
А нам не надо этого, Андрюха!  
Ты застрели его, у него хорошая рубаха  
Надо застрелить его, мы для этого пришли на войну  
Андрюха воткнул нож  
А сказки ещё успеет рассказать, когда умрёт!  
Наговорил мерзостей и помирился  
Очень люблю твои синие глаза  
Я убегу отсюда  
Всех переплыву!  
Андрюха воткнул нож  
А я знаешь тебе не дам верховодить  
Андрюха воткнул нож  
Будем убивать  
на всякий случай всех  
Я танцую на песке  
А ты спрашиваешь:  
Почему вы танцуете,  
синие глаза?  
Потому что плывёт корабль  
А это разве наш корабль?  
Да, это наш корабль  
Андрюха воткнул нож

А это чей корабль?

Я же сказал тебе: Это наш корабль

Это мой твой это его корабль

Побежали!

Я бегу

Мой корабль, приплывай ко мне!

Андрюха воткнул нож

вскинул ружьё застрелил

упал пачкаясь в крови

Синие глаза, почему вы умерли, я не хотел

Почему вы такие синие? Почему вы глаза? Почему вы

такие морские, почему вы умерли

Синие глаза и синие глаза...

## Археология

*А.Н. и М.Г.*

Горелик и Никитин женщину нашли.  
Как это было — расскажите мне!  
Пришёл Горелик, важный оружейник;  
пришёл Андрей Никитин, мастер бережных  
раскопов.

И женщину они вдвоём нашли.  
Но не пришли  
они,  
а ехали на поезде,  
где били мух Эдгаром По в такой сиреновой обложке  
давней...

На полке на казённой простыне  
в тоскливой вмятине простого тюфяка —  
гнездо невольное  
булавочным колючим хлебным крошкам.

Тень поезда летела и бежала тёмная ничком  
напоминала странно  
зыбкую такую глыбу.

В дороге было жарко,  
и верблюды были за окошком,

И девчонка смуглая  
на станции стояла  
продавала вяленую рыбу...

И тоже на грузовике приехали в большую степь.  
А там —

Взлетит степная птица,  
крыльями захлопав;  
И маленьких степных зверей  
чуть видное движение...

Андрей Никитин — мастер бережных раскопов,  
И Михаил Горелик — мастер оружейный...

Когда воспоминания мои распяты и расколоты,  
И мне за эту пёструю мою наивность восприятия  
                                сегодня воздают сторицей

Доспехи воина из Рýси посредине комнаты,  
И женщина в мерцанье чёрно-белой фотографии  
                                сверкающая мне  
                                раскинутой страницей...

Вот шлем с железной маской,  
                            острый,  
                            и с кольчужной сеткой.

Рот раскрыт у маски,  
                            твёрдый нос торчит.

Вот панцирь,  
       весь тесёмками скреплённый;  
и меч в ножна́х,  
                            наврное, совсем как настоящий.  
И на полу такой узорный,  
                            красно-пёстрый щит...

Горелик и Никитин женщину нашли.  
Теперь они пируют на холме, как могут.  
       Пьют водку и едят печёную картошку;  
       ножом карманным режут хлеб  
                                ржаной  
                            на ломти толстые большие...

Нисходит ночь  
       Уходит зной  
                            степной

Нисходит ночь луны высокой круглой...  
Они прозрачную пьют водку из бутылки с длинным  
                                горлышком,

едят картошку круглую печёную,  
облупливают яйца круглые крутые  
       с прозеленью маленькой в желтке...

И души их весёлые танцуют належке,  
Танцуют и поют...



Что будет дальше — знать бы...

Танцуют, будто парни курдские на свадьбе...

В свою сестру влюбился я.

Девушка, стань моей женою.

Как счастлив я, как счастлив я.

Девушка, стань моей женою.

Повозки, гружёные добром,

везут приданое в новый дом.

Как счастлив я, как счастлив я.

Девушка, стань моей женою!

— Свободны!

— Свободны!

— Мы свободны!

Голоса оживших гребцов звучали нестройно и радостно. Летучий корабль начал распадаться. В разные стороны полетели снасти, и парус, и резной цветок, и корма, и нос. И с весёлыми возгласами кувыркнулись в это небесное пространство гребцы...

Они устали утро целое копать.

Их молодые плечи обгорели.

Зато вокруг такая благодать!..

И ветра одного степного джинн

доверчиво, прерывисто играет на такой свирели...

Один лопатой землю бережно бросал,

копал.

Другой тихонько землю отгребал горстями...

И вот награда,

вот открылся гармонический оскал...

И вот она,

монгольская красавица лежит

прекрасными крепчайшими костями...

Так вот она, монголка Заболоцкая...

Она прекрасна...

Она лежит прекрасная,

в останках дорогой одежды...

Гипертрофия костного рельефа  
указывает силу прежних мышц...  
Наверно, тысячника храброго жена...  
Все украшения её прекрасные на ней надеты —  
на пальцах — кольца,  
на руках — витые дутые браслеты,  
и бубенцы и ожерелья — на груди...  
Вот украшения её прекрасные неровности узорные царапины  
и впадинки живые руки ювелира потемнело золото  
и серебро в земле от грязи этой земляной...  
Вот бедренные кости мощные её,  
её недлинные и крепкие  
в останках обуви её нарядной  
но́ги...  
Но как её лицо прекрасно, Боже мой!..  
Так вот же чéрепа лицо,  
оно прекрасно!..  
Оно прекрасно, ясное и светлое...  
С неё ушли последние покровы.  
Её уже не тронет хищный зверь.  
Вся плоть её  
степными изошла цветами.  
Её неоспорима красота  
теперь.  
Её улыбка радости полна;  
Теперь на веки вечные она  
Хмельно смеётся сжатыми зубами,  
костяными смелыми устами...  
Вот, вот она,  
красавица степей,  
прекрасница монгольского степного  
беспредельного Востока...  
Теперь она лежит покойно и глядит небесно вдаль...  
На голове её высокая, как будто самоварная труба,  
великая большая шапка-бокка;

И сетка золочёная —

вуаль...

Душа её неведомая, сердце,

и судьба, —

мы знаем, нам всё время говорят, —

у каждого своя.

И вот на юношей,

пришельцев к ней,

она глядит,

Как будто бы со дна внезапного колодца...

О, как она прекрасна!..

И змея

Доверчиво в её глазнице вьётся...

О, как хорошо!..

И для чего,

зачем твой голос рассердился на меня?

За это обещание моё,

которое, конечно, не исполнила...

Я всё исполню,

всё, что обещала.

Давай помиримся...

Прости меня...

И фразу Лиудпранда о царевиче Баяне, о которой рассказала

тебе,

я для тебя перепишу, переведу...

А ты, Андрей, наверное, подумал, что совсем не спросит

Подобной благодарности

богиня с этой маленькой монетки,

круглокрылая сова...

И ты скажи мне, отчего нельзя

вот это знание моё

мне обменять на голос твой,

который, нарекаясь этим именем,

красиво произносит

Живые похвалы

и нежные слова...

...Baianus autem adeo fertur magicam didicisse ut ex homine subito fieri lupum et quamcumque aliam cerneret feram...

...сѣрым вѣлком по земли...

Я всё исполню,

всё, что обещала...

## Давай помиримся...

# Прости меня...

И свастики древнее женское место —

тетрада —

начало —

наклеено на телеграфном тоскливом столбе...

А поезд —

колёсами —

стук-перестук...

Поиграем ещё в Заратустру...

Так-так...

Вайнингер, так!...

## В Заратустру...

ещё!..

## В Заратустру...

опять!...

## Назовём идеалы словами....

Послушайте, что я надумала...

# Слушайте...

BOT...

Я говорю вам:

свастики пизда,

звезды шестиконечной жопа,

# хуй полумесяца кривой

и острый хуй креста...

Но, Михаил, я ничего не говорила;

Андрей, ведь эти все слова я только написала,

я их не произ-

носила вслух...

Чего же вы не ожидали от меня?..

.....

Мы пьём вино,

едим горячий хлеб...

Горелик и Никитин женщину нашли.

И вот подветренно летит ковыль.

И смотрит Каменная Баба —

изваянье

Любовное Востока.

И, на землю наклонив бутылъ,

Горелик сотворяет возлиянье.

И лицо — в улыбке.

Сегодня пятница, Венерин день.

Андрей недаром сын художника,

недаром замер мальчиком, ребёнком на холсте

отцовом,

как будто лучик солнечный смешной и милый.

И юноши золою тёплой голые тела свои натёрли,

чтобы эти все земные зарожденья

сызнова начать.

И пламя догоревшего костра

уходит,

изошло в прозрачном синем дыме.

И вот она лежит.

И на уста её

печать

Кладёт Андрей устами молодыми.

И вот вступают свадебные флейты,

бубны,

архаические воинские трубы.

Прекрасно черепа лицо, прекрасна костяная нагота!

Андрей свой рот, свои запёкшиеся молодые губы

Кладёт печатью на её уста.

И вот в раскоп могильный молодые длинные спуская ноги,

они ложатся к ней поочерёдно

и обнимают землю и её...

И что рождается от этого?

От этого рождается обычное смешение, слияние времен.  
В тюрбанах Параджанова безумно скачет всадников стоцвет-  
ное сверканье.

То иудейский караван идёт из Равенсбурга

и везёт Андрею Ярославичу красавицу Фламенку.

Красавицу Фламенку в переплёте деревянном,

на пергаментных листах,

в стихах

на старопровансальском языке,

с такими позолоченными буквами заглавий...

И не хватает в рукописи лишь начала и конца,

и одного любовного посланья в середине...

И солнца свет горит, горит сильней;

И лунный свет летит, летит лучами;

Когда они склоняются над ней

Прекрасными горячими плечами...

Свободные, живые наконец,

Одни в трагической пустыне мира,

Мы пьём за благородство,

пьём за высоту сердец;

За жизнь, высокую, как текст Шекспира!..

Мы пьём за жизнь, в которой нет безумия тоски

и сумасшествия тревоги;

и не задыхаешься в привычных мерках,

Их нет — и не гуляет мелочная месть.

Нет заскорузлых маленьких цепочек мелких —

Одни трагические цепи есть!

Мы пьём за жизнь, когда в душе твоей

Творятся для тебя любовные законы;

За жизнь, в которой не бывает мошкары и нет червей —

Одни лишь змеи и прекрасные драконы!.

Меня бы после смерти положили так!..

Пусть смотрят, пусть глядят с волнением,  
с восторгом пусть глядят во взгляде  
на чéрепа лицо в самозабвенной костяной улыбке...  
И невозможность боли и печали  
Пусть оживёт за давностью могил.  
И пусть они... и пусть бы надо мною  
бессмертными прекрасными плечами  
Склонялись бы Андрей и Михаил.  
Но не такие, как сейчас,  
а молодые,  
с прекрасными зелёными глазами,  
пахучие травой живой и птицами —  
как степь...  
И пусть от них бы молодостью пахло  
И почвою, которая судьба;  
Пусть оба из себя — до донышка, по капле —  
Горелик мне сказал —  
выдавливают жалкого раба.  
Пусть оба пахнут вновь  
насмешливой мужской улыбкой  
в чёрных точечках бритья,  
Такой мучительно любимой и короткой;  
Немножечко таким козлиным запахом,  
немножко водкой...  
Смешное, недоступное дыханье бытия!..  
Пусть пахнут молодыми твёрдыми телами,  
как яблоки горячие на ветке в полдень...  
Пусть молодостью, молодостью пахнут без конца!..  
И славили бы молодость всей жизни  
горячими прекрасными телами —  
ясный дар Господень...  
И мерно, сильно бились бы сердца...  
И эта невозможность боли и печали...  
И морем, и волна́ми по степи  
катилась бы, светилась бы

тюльпановая жёлто-алость...

И надо мной они бы наклонялись

бессмертными прекрасными плечами...

И всеми уцелевшими зубами я бы им смеялась.



## Пушкин

Сегодня гости не съезжаются; обед великосветский  
не произойдёт...

Андрей Иванович не подал суп с кореньями...

Андрей Иванович кому не подал суп с кореньями?

Андрей Иванович ему не подал суп с кореньями.

Андрей Иванович не подал супа никому...

Балканцу — переводчику Гомера,

шотландцу — воспевателю грузинок...

Всей этой пёстрой своре арлекинов,

которые решились им владеть;

и продавать его, и покупать,

и рабством развращать...

Андрей Иванович воскликнул:

— Я в стране своей не нищий,

не раб,

и не подносчик пищи!...

И все тарелки бросил на пол;

И чей-то фрак разводами кровавыми закапал...

Мы пили кофе в малом кабинете малахитового летнего дворца.

— Вчера, году в двадцатом, — говорил Андрей Иванович, —

прогнал какой-то Френкель

Андрея Белого в подвал...

— Он просто глупый, — я тогда сказала.

И тотчас я спросила:

— Вы его простите?..

Андрей Иванович ответил:

— Я устал прощать.

Я тыщу лет прощаю всех, прощаю...

А может, хватит?..

Надоело!

Хватит!..

Я в креслах подалась порывисто вперёд и говорила со слезами:

— Не хватит!..

Нет!..

Мне будет очень больно!..

Вы знаете моё к Вам отношение,

оно не переменится...

но больно...

Без Вашего прощенья невозможно —

мир не тот...

Он тихо и тепло сказал:

— Я это знаю...

Лев Николаевич входил с подносом в кабинет;

на столике расставил эту благодать:

сухарики,

тартинки,

белый с золотом кофейник,

и чашечки саксонского фарфора,

и в белом сливочнике сливки кипячёные,

томлёные то есть...

Андрей Иванович сказал ему:

— Спасибо, друг. Ступай...

Мы продолжали разговор за кофе

красиво...

Но Лев Николаевич —

руки за спину заложив —

и — скулы вперёд — молодой —

и — сумрачно — впадины глаз...

И — «Люблю, — говорит, — Андрюша,

тебя встречать на пути своём...

И чудный Троицын день был вчера!

Старый лес и обедня,

черёмуха вянет в корявых рабочих руках;

этот красный загар и глаза;

ярко-красный кумач и горячее солнце...»

И я говорю, обернувшись живо на креслах:

— Ведь правда, возможно?

Ведь правда, возможно такое

от чувств?..

Ай, соглашайтесь,

Ай, спасёмся любовью!..

Андрей Иванович что же в ответ —

как будто совсем смягчился...

Андрей Иванович улыбается...

Он улыбается ужасно необыкновенно...

так тепло, просто и чисто,

сказочно простодушно,

душевно, сердечно-восторженно-тихо...

Он так улыбается, как будто не знает ничего грязного в жизни...

И всё это хорошо,

но всё же пойдём в начало...

Туда,

где выход на крыльцо в одной рубахе красной...

Туда, где волосы, власы кудрявит, живо серебрит позёмка...

Псковская дама Дуринá глядит

в лорнет...

А что ему —

ему плевать! — ему не страшен русский холод...

Пыльцой морозной пылью живо засребрились кудри...

В метель идёт,

ему не страшен русский холод...

Андрей Иванович, тот очень хрупкий,

тот может разочароваться и озлиться,

ожесточиться может,

если разуверится;

и может простудиться вдруг и умереть,

мороженого чутошную ложечку покушав...

А этому не страшен русский холод,

с размаха он выходит на крыльцо —

Расстёгнут ворот — сердце-птица —

Снег, мороз — навстречу —

И всюю гримасами ярится

Его ужасное лицо...

...как молния...

Весь — молния!..  
И мрачной страстию жестоко  
Весь раздувается,  
живой и страшный шар...

...как молния...

И жутью иудейского Востока  
Дымится грязный грозный африканский жар...  
Снег темноту пронзает белой острой сетью —  
— Карету мне, карету, кучер Исаак!..  
В пространстве детства —  
в тех — вдали —  
краях, кровях —  
где чернота и грязь,  
где злобно, шумно, знобко  
Летает сказочная эфиопка  
И женщин крепостных желтейшею ладонью бьёт..  
И никогда голубкой дряхлой он её не назовет..  
Метель..  
Такой мороз,  
так холодно,  
что выживают здесь одни лишь эфиопы, турки да жида  
(то есть евреи;  
извините, мы,  
они и вы)..  
Андрей Иванович понуренный сидит,  
немножко подгорюнился;  
на плечики накинуд телогрейку..  
А они гуляют поздним вечером,  
у них гулянка..  
— Пошёл, пошёл, — кричат, — Андрюшка!  
Гони коней от этой глупой небосклоновой луны!  
Жги, значит,  
говори  
чего-нибудь...

И он летит послушно...

тоже серебрится весь...

Весь в перце Горького и Бабеля,

весь в крупной соли Чехова и Бунина,

и в пудре, в сахарной пыли всех прочих...

Серебрится весь...

Соль, сахар, перец... Ух, блестит!..

И весь летит серебряный мой князь Андрей Иванович...

И в праздник Богоявления вмиг раскрывается прорубь,

и солнце зимнее светло озаряет руку с крестом...

Андрей Иванович, мой Серебряный Князь,

мой Серебряный Голубь...

Весь в свете серебряно-лунном и солнечно-золотом...

Нет, я не сумею...

Из этих — фотографии —

тёмных, и светлых, и серых тонов —

плавно идёт очертание...

гармонически чистую нежную шею...

И ворот белой рубашки —

узорная кромка...

и черноту пиджака...

И лицо...

Светло...

Какой же ты красивый...

Русская мужская красота...

она трагическая, тонкая,

будто крыло мотылька...

она мгновенна, будто мотыльковое крыло...

Но у кого учиться, чтобы описать?..

Конечно, у него!..

Бежать

в начало самое,

лететь...

Он вдруг внимательный,

и странный, и большой;

и вовсе не жестокий...

Тогда к перу гусиному протянется рука...

Тогда легко заплещутся слова,

полюются строки

Водою чистою гармонией лесного родника...

Да, он родник.

Но это как-то аксиома,

и скучно потому.

И скучно.

И попробуй убеги куда-нибудь...

Так страшно, Господи!..

Что делать?

Что же делать?..

А ничего...

Цитатно-тривиально выпить чай с вареньем...

Я так сижу в старинных креслах

утончённо,

Откинувшись распушенной косою чёрной

на бархат мягкий и тугой...

И на меня,

которую придумал Кот Учёный,

Глядит Аи

с улыбкой теплотой любви...

Аи!

ты ангел рая...

Ты ангел рая романтического,

ты —

Век девятнадцатый —

ещё не середина,

ещё не сердцевина —

русская поэзия...

А я,

вдруг обретённым обликом так радостно играя,

Так вглядываюсь в эти чуждые твои черты...

И — в кружевах рукав короткий синий —

тонкою рукою —

вдруг...

Лев Николаевич вошёл почти бесшумно и сказал,  
что санки поданы, заложены  
и у крыльца стоят.

Лев Николаевич протягивает руку —

— Посмотри в окно, Андрей!..

— Где мой альбом? — спросил Андрей Иванович нетерпеливо, —

Я милый берег рисовать хочу!..

И на груди его я шарф придерживала накрест,  
пока он надевал пальто...

И было хорошо...

Так было хорошо, приятно предаваться

движению саней под голубыми небесами,

и великолепными коврами снег блестел на солнце...

— Чудесный день! —

с такой своею тёплой и мою щемящей душу искрен-  
ностью произнёс Андрей Иванович...

И после мы вернулись и обедали обед чудесный.

Лев Николаевич служил так деликатно,

и наливал вино, и подавал мороженое...

Лев Николаевич учтиво поклонился и торжественно,

и объявил торжественно, что гости

сезжают на дачу...

Так естественно!..

Сегодня послезавтра Пушкин позвонил вчера позавчера...

Андрей Иванович задумчиво сидел в старинных и прекрас-  
ных креслах,

распрямившись даже величаво...

Так больно было на него,

такого худенького, хрупкого,

смотреть...

И сердце смысл биения теряет.

И больно, страшно и правдиво холодеет кровь.

И сердце в тоске без тебя изнывает,

в тоске повторяет:

— Моя безумная любовь!

Моя безумная любовь!..

Тогда вдруг зазвенел молчащий белый телефон,

а мы в окно глядели...

Погасло днёвное светило...

вечерний пал туман...

звезда вечерняя...

Так хорошо нам было...

И тут,

конечно кстати,

Пушкин позвонил,

как будто ничего и не случилось...

Андрей Иванович поднялся к телефону;

и Пушкин просит позволения заехать,

он хочет что-то новое прочесть Андрею...

Андрей Иванович весёлым милым голосом сказал,

что Пушкин может к нам приехать хоть сейчас...

Андрей Иванович ещё стоял одно мгновенье;

И вот серьёзно, с важностью такую

опустился в кресла вновь;

И с этим выражением серьёзным теплоты и сдержанной

печали,

Как будто бы стихи уже звучали...

А я смотрела на него тихонько

и невольно повторяла про себя в таком тоскливом упоенье,

невольно повторяла про себя в таком счастливом стран-

ном вдохновенье:

«Моя безумная любовь! Моя безумная любовь...

Моя безумная любовь...»



## Чувствительный волгарь

Семейная хроника в трех книгах

*Посвящается Наташе Максимовой*

Город — Русский Брюгге!

Здравствуйте, пожалуйста!

Большое до свиданья всем.

А вы когда-нибудь видали,

скажем,

итальянскую Москву?

Ну да! Москва,

она и без того

такая итальянская...

Не забывают:

Стрельчатыми башнями стоит над всей Московскою страной

Итальянская Москва.

И тень Фиораванти

На Москве,

как во Флоренции родной...

А вы когда-нибудь видали,

скажем,

например,

голландский Петербург?

Но Петербург,

ведь он и без того

голландский, итальянский и немецкий...

В площади его мощёные

мы заглянули.

Сеются над ним дожди

и снежные крупинки разлетаются;

и можно так по-детски

В него играть,

как в нюрнбергскую игрушку заводную...

«Город — Русский Брюгге!» — говорит Борис Андреевич;

недурно говорит,  
хотя и глупо.  
Но ведь город стал известен,  
и почти что в одночасье,  
И в истории российской,  
и почти с тех самых пор,  
Как Андрей какой-то крепостной,  
почти что мастер,  
Здесь почти что изобрёл фарфор.  
Изобрёл, конечно, да!  
Но почему же —  
Или нет, не почему —  
в тюрьму он сел.  
Только был его фарфор, конечно, хуже  
Раз в двенадцать или в двадцать,  
чем саксонский или севр.  
И на каторгу Андрей побрёл дорогой длинной.  
И его губили долго  
злое горе и нужда.  
Потому что в нашем Русском Брюгге не бывает  
подходящей для фарфора глины.  
Не бывает и не будет никогда...  
Но зато —  
над базарной площадью торговой  
Встала башня — чёрные углы.  
В башне той навечно сохраняются оковы,  
Пряники, кнуты и кандалы.  
Кто задумал на свободу выйти?  
Кто поносит жизнь, которая не мёд?  
Вдруг из башни той как явится Правитель!  
Всех к большому когтю он, любя, прижмёт.  
Всех поставит раком друг за другом,  
Всех разденет с кровью догола;  
Чтоб над старым русским бунтом  
в этом самом Русском Брюгге

Размахнуть свои совиные крыла...

Город — Русский Брюгге.

Отовсюду пахнет русским

водочным пивным

глумливым и старинным духом,

Всякими такими «У-у! Бу-у! Не люблю! Убью!»

В городе особенно по вечерам противно.

И если вас нечаянно убили здесь

немножко пьяного

случайно по ночам

гуляющие мальчишки;

если вас нечаянно убили, проломили голову;

то извините,

это Русский Брюгге.

И земля вам будет жирным пухом,

Если здесь —

а это просто —

вы найдёте смерть свою...

А черемуха, качая тени,

Размахнув свои высокие кусты,

Наклоняет мелкий виноград сирени,

Сладкий духом диковатой красоты...

Бедный Русский Брюгге!

Апатично и лениво бродит сонный

распояской нищеты.

А только вдруг оденется богато

И пойдёт в кулачные бои!

Город — Русский Брюгге любит праздновать расправы,

и тогда летят с раската

Жители его,

как воробьи.

И снова —

бедный Русский Брюгге!

Лет полтысячи он копит разные свои неправды,

Колокольные убийства мальчиков кровавых

он предпочитает...

# Жалкий Русский Брюгге!

## Рядом с настоящим Брюгге

ОН ГЛЯДИТ, КАК БУДТО СКОМОРОХ КАКОЙ-ТО,

он глядит, как будто сумасшедший

непристойный шут!...

# Вашу мать!

сюда заманишь вряд ли.

А другие — ничего —

ЖИВУТ.

И даже хорошо живут!

В городе промышленность гуляет —

## Русский Брюгге —

фу-ты ну-ты! —

целых два, а то и целых три завода.

И на этих двух, а то и трех заводах

Делают будильники глухие и никчемные сыры,

И другую крепостную гадость из-под палки.

В городе работать не умеют и не любят,

потому что все рабы предпочитают отдых —

Чтобы водка, чтобы пиво,

чтобы лето, чтобы лодки,

чтобы волны,

чтобы свежий

## заказчий и летячий

## Ветер-ветерок над степью

заиранской

заперсийской

МОЛОДОЙ

арбузной

ЗОЛОТОЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЖАРЫ...

Потому что город — Русский Брюгге!

Потому что чайки падают с откоса.

Потому что судорогой давит сердце,

сводит болью-радостью-тоской.

Потому что все глядят скуласто, бесшабашно и раскосо  
Над хазарской, над Борисовой рекой...

Город — Русский Брюгге!

На мосту проходит Лазарь

в габардиновом плаще впервые.

Весело в карманы сунув руки,

он посвистывает налегке.

Русский Брюгге,

это вам, конечно, далеко не Салехард.

И мы живые.

Здравствуй, мой прекрасный Русский Брюгге

на большой серебряной реке!..

Русский Брюгге...

Тянет старый невод

на песочек

старый бакенщик Гаврилин.

А река течёт большая,

тихая, как тихий зверь.

Эх, течёт река всё время!

Ну, чего, поговорили

Про дожди

и про другую разную погоду.

И Лазарь думает: «Конечно, это родина моя,

и некуда теперь!»

А в этом неводе

немножко блещут:

мёртвая речная крыса,

У которой хвост и зубы уцелели без вреда,

Пуговица от шинели гимназической Бориса,

И коричневая рыбка;

остальное всё — вода...

Ну и что!

И Русский Брюгге!..

Все фотографироваться вышли возле дома.

На велосипеде Мишка едет

с длинным чубом на прохладном ветерке  
и в свитере коричневом.

И в звонок велосипедный весело звенит он.  
Русский Брюгге!

Деревянный дом, поленница,  
колонка брызгает водой,  
и Маша Ходакова поздоровалась приветливо,  
и на плече её,  
на худеньком, горбатеньком,  
качнулось коромысло.

И сосед-фотограф прикрывает пол-лица своим «зенитом».  
И сверху вниз крутая улочка ухабами повисла...

Ещё застолье не случилось до конца.

Прямоугольный стол под скатертью топорщится  
на противне большой пирог мясной  
картошечка варёная

селёдка

## ПОСЫПАННАЯ ЛУКОМ

«По Дону гуляет...»

Ещё не повели прерывную беседу.  
Ещё не весь поели на тарелках белых  
серый мокрый холодец.

Ещё не весь попили  
вишневого плескания-свечения  
из рюмок и стаканчиков

портвейн.

Теперь пошли на улицу.

И лицами к фотографу-соседу  
Теперь стоят рядком на маленькой траве...

Пётр — тёмные и мрачные глаза —

красавец-хулиган

Пётр — карие глаза —

## ВИХРЫ —

красавец-хулиган когда-то  
нынче моложавый

рабочий люд

Красивый выпуклый рот

Пётр —

когда —

из хулигана-подростка

просто

вырос красавец улицы деревянных домов,

брёвна которых,

как будто далекие кости огромных высоких зверей;

наверное, мамонтов,

гордо идущих клыками вперёд...

Пётр —

скулы и вихры —

он в тёмном пиджаке,

а его жена Таисья — в круглой шляпе.

А Ольга толстая приземистая добрая

в завивке парикмахерской кругла.

И дочь её Татьяна,

девочка высокая похожа на цветок заброшенной канавы —

длинный жилистый упрямый стебель голенастый,

венчика голубенького свет.

И Ольгина свекровь,

худая,

в платке,

русская старуха...

Стоят,

лётom раскинув персов брови,

Сумрачно плывут угорскими глазами.

И от уха и до уха,

От виска и до виска

Больно растянулась по-коровьи

Северная финская —

в глазах —

деревенская тоска...

И смотрит Лизавета.

Косы гаремные восточные —  
узлом —  
запрокидывают голову.  
Гордыми обидами на жизнь глаза обожжены.  
Крылышком надут капроновый платочек —  
белым горлом...  
Самолюбиво смотрит Лизавета,  
прекрасно смотрит  
Лизавета,  
сдвинув брови чёрные союзные  
княжны.  
И сердито сжаты губы —  
после ссоры замолчали.  
И в тёмном маленьком пальтишке,  
хилый и чудной,  
На её руках Андрюша  
смотрит кругло и печально  
Из-под шапочки ребячьей  
серой шерстяной...  
Выходи вперёд, фотограф!  
Пусть сейчас же —  
синей длинной вереницей —  
Огненно, певуче и пестро —  
Пусть сейчас же всем навстречу вылетают птицы —  
Чёрный ворон, сирин, гамаюн, жар-птица, соловей,  
и птица синяя —  
заманчивого края дальнего заморского  
блестящее перо...  
Город — Русский Брюгге!..  
В доме деревянном  
вечером вечерним  
Русский Брюгге на стене —  
открытка —  
тоненькой булабочкой-иголочкой прижалась на стене...  
материнской, быстрой,



вечерами ласковой руки  
Милым постоянством...  
Там, в открытке, очень маленькие люди,  
и серебряные цокают коньки,  
И лёгонький туман летает  
над большого льда речным пространством...  
Русский Брюгге,  
он, конечно, русский,  
потому что на стене  
над маленькой кроваткой  
он открыткой смотрит  
в маленькое русское дитя —  
Какого мирового дерева дитя,  
какого мирового древа —  
мальчик маленькими голенькими ножками стоит  
на красной, в белой наволоке,  
подушке...  
А в открытке ветер машет мельницами,  
облачка на небе нарисованном,  
город маленький и башенный — вдали,  
и видно, как идут солдаты,  
шлемами блестя.  
И даже слышно:  
салютуют пушки...  
И детский, очень круглый,  
грустный-грустный и плаксивый взгляд  
Расплывается мечтательностью нежной из-под чёлки светлой.  
И это не во сне!  
Русский Брюгге!  
Там красиво, потому что непонятно говорят;  
И паруса,  
как белые русалки в сказке,  
выплыли под ветром.  
И ладошки круглые, пальцы маленькие  
растопыренно прижались возле маленькой

открытки на стене...

А за столом с душевностью поют:

«Вот кто-то с горочки спустился...»

Невысоким потолком стучат подвески.

Бабушка в матерчатом чепце,

как будто бы голландском,

припевно говорит свои чудные златоусты.

По открытке

над лицом ребенка

лёгонькие блески —

Сверху —

ночью днём —

от солнышка в окошке,

от стеклянной люстры...

Вот и Питер Брейгель прибегает —

Брейгели, соседи,

давние голландцы,

нидерландцы,

в этот Русский Брюгге вхожие без стука;

Топают из вечности какой-то,

весело ступая.

«Ну-ка, потанцуйте, — приглашают, —

ну-ка!»...

Всем ведь хочется дрончить —

мальчикам друг с дружкой —

бабушка глухая и слепая

Всё равно

это будет не сейчас;

а когда-нибудь

давно...

Сейчас же вносят на большущих досках,

похожих на двери,

снятые с петель,

Сейчас же вносят много-много пирогов,

и много водки, пива,

и селёдок, и картошек...  
Вокруг столов подпрыгивают дети —  
«Ладушки-ладушки,  
где были?  
У бабушки!» —  
Тараканы прибегали —  
все стаканы выпивали —  
нахватали на полу  
много-много крошек...  
Соседи входят Брейгели бородками вперёд,  
кивая в шапках с перьями фазаньими...  
Соседи Брейгели пришли, ура!  
Они все в бархате, а жёны — в жемчугах на платьях.  
Голландские картинные крестьяне  
всех приветствуют.  
Семён Иванович  
с лицом достоинства  
встаёт,  
чтобы торжественно обнять их.  
И Лизавета,  
напудрив матовые щеки нежно  
пудрою «Кармен»,  
всех приглашает утрехтскую водку пить  
в бокалах серебра...  
Соседи Брейгели пришли, ура!..  
Наташа, Костя, Ваня, дядя Саша,  
Сергей Семёнов,  
Гриша Хамидуллин,  
Борис Шули́мович, Надежда Кошкина,  
Ян Стен, Хендрикье Стоффельс,  
Андрей Иванович, —  
собирайтесь на почестен пир!  
Целуйтесь, обнимайтесь и танцуйте!  
Играйте на гитарах и волынках...  
И пусть вас нарисуют на картинах!..

И, может быть, уже случился этот случай;

Может быть, нарисовали вас уже...

Русский Брюгге,

он совсем как настоящий Брюгге,

только лучше!

Потому что он живёт не в жизни, а в душе!

Потому что он живёт,

как дитя, раскинув руки.

Потому что мы всегда творим себе кумир.

Милая моя Голландия,

прощай!

На корабле меня уводят в идеальный город,

в дальний Русский Брюгге,

В идеальный

страшный и прекрасный

Русский Мир!..

## Вариант рабфака

*Дмитрию Кузьмину и Дмитрию Белякову*

Москва бежит из Вальтера Беньямина зимы

Трава примятая под белыми берёзами

и темнота

совсем живая

поднимается своим дыханием со всех сторон

Здесь

на окраине

глазами карими

С Андрей Полухиным любился Венька Левинсон

Глазами карими смотрелся в друга милого любимого

И после там была примятая трава

Наутро в небе

неутолимо светлая летела синева

Со всех сторон примятая весенняя трава

С Андрей Полухиным любился Венька Левинсон

В прекрасной грязной комнате с высокими лепными потолками

В прекрасных грязных комнатах на этой сумрачной постели

когда студент Романов уходил сокурсник

С Андрей Полухиным любился Венька Левинсон

Они встречались лугом на заре друг с другом

не для того, чтобы детей родить и дом построить

а только для одной любви

Андреевой руки горячей и живой

касался Венька

так чудно и осторожно

не для того, чтобы потом детей родить

оно и невозможно

А только для одной любви

Они любились бескорыстно

не для того, чтобы вдвоём построить дом

и уж конечно

не для того, чтобы детей родить  
не для того, чтобы сажать деревья  
А только для одной любви они любились  
Их не учил никто любить  
друг друга сами  
нашли они  
однажды  
в общежитии

Им снился сон один  
обоим сразу  
порознь каждому  
на площади торговой  
в большом селе на Волге  
на Буг-реке  
в местечке-городке

Вениамин Андрей  
ребёнок мальчик лет семи  
корзину продаёт  
плетённую из прутьев  
сам сплёл её  
и вышел продавать

Наутро

Андрей пил воду из горстей  
Из крана медного закручивалась мутной светлой змейкой  
холодная и тонкая вода  
И обернулся  
Увидел Венька взгляд его  
доверчивый, задиристый, отчаянный и кроткий взгляд  
прекрасных глаз крыжовенного цвета  
сверкнувших тонко золотистой теплотой  
И вот с тех пор они любились

Венька

был хмурый парень с холодком в глазах  
и мукой

и безумным чёрным жаром и тоской в глазах

С такими вот лиловыми губами  
выступающими кругло  
С такими вот кудрями чёрными  
как тоненькие змеи  
Красивы были в нём точёные ступни  
когда босые  
и благородство лёгкой смуглоты  
Андрей был тихий мальчик  
босиком ходил в своей родной деревне  
как русские святые в детстве  
не играл с детьми другими  
а всё-то с книгою  
с каким-нибудь растрёпанным старинным томом  
из томов немногих  
библиотеки в школе  
Но вдруг с таким самодовольством детским он похвастаться  
наивно мог,  
что дрался с лысогорскими мальчишками отлично  
В Москве Андрей шёл бывшей  
Кадашёвской слободой в столице  
Андрей шёл Кадашёвской слободой  
однажды  
Худой и узкоплечий он остановился  
И русые вихры зализывал карманным гребешком  
Носил косоворотку  
подпоясывался кожаным и тёмным тонким ремешком  
Когда в пивной они ладонями одну охватывали кружку  
и в улыбке чуть смешного неизбывного восторга  
так глядели друг на дружку  
и чтобы пить из кружки там, где прикасались губы друга  
И Андрей такую кружку «скифской чашей» называл  
недаром он учился хорошо  
и в университет готовился  
и столько книг читал  
Московская черёмуха неярко шелестела

и «Пантелеймон»  
как будто бы звала кого-то ясно  
Но они не различали  
и склонялись к ней напрасно  
любовным радостно наивным слухом  
Весной черёмуха в окно раскрытое их одевала духом  
Черёмуха по улицам гуляет  
и продаётся на углах за деньги  
за маленькие тёмные монетки  
похожие на медь и серебро  
Не продаётся в этом мире лишь Андрей  
Андрей не продаётся почему?  
А потому что он даётся даром  
на Подмосковья молодой траве,  
где кончик носа взлётом прощекочет муха травяная  
Нет, в этом мире лишь один Андрей не продаётся  
Он отдаётся даром  
на горах  
на площадях и на полях сражений  
Всё дорогое даром отдаётся  
На Подмосковья молодой траве  
Приходит вдруг и молча отдаётся  
глазами шепчет радостно: «Возьми!»  
И стыдно, тяжело перед людьми  
таким богатым быть и сумасшедшим  
Он думал о Шекспировом сонете  
О самом том Шекспировом сонете думал Венька Левинсон  
О том сонете — «Как перенести?»  
Конечно можно: что перенести? куда перенести?  
зачем перенести?  
Конечно можно даже вспомнить: несть  
ни эллина ни иудея  
Но куда их несть?  
Конечно нет ни эллина ни иудея  
одни лишь Венька и его Андрей остались в мире этом



И этот мир сидит и думает: куда б их снести?

чтоб не мешались на его дороге торной в ад

Уже смеются губы Венькины лиловые

Но как перенести?

Конечно, клевету!

Урыльники, помойные лохани клеветы

и унижение до того, чтоб объясняться

с такою искренностью клятвенно в горячке заверять,

что ты ни в чём не виноват

Ну нет!

И вот ещё:

необходимость говорить и верить искренне в свои слова и

соглашаться —

вот что тяжело перенести

Играть несчастного, когда несчастье в этой ненависти

и стыдиться

отца и матери,

их ненависти,

злобности их лиц

Гореть лицом и думать справедливо

Но как же это всё переносить?

Нет, нет, не груз обид и обвинений,

другому злобно плюнутых в лицо

а как нести тащить себя?!

Когда бы не Андрей

Андрея видеть

И тело не твоё

оно — гора

оно — пустыня

что-то страшное, живое,

и жаркое дыханием песчаным

и жаркое дыханием песка

А? Как это?

И окликать: «Андрей»

Страдальческую мягкую улыбку видеть

И охватить за плечи

и закинуть руки

и сердце чувствовать его

своей ладонью

Счастье —

понятие мгновенное —

Схватить Андрея

поднять поднять в такую высоту!

как чайным ситечком позолочённым взмахнуть

и на одно мгновенье солнце

поймать необычайно и чудно и ярко

до смеха в горле,

бьющего на губы,

до заныванья в косточке грудной

Андрей!

Поставив зеркальце на полку брился Венька Левинсон

Дверь приоткрылась,

заглянул Полухин

живого половиной тела

свет рубахи белой

Невольно радостно спросил простое:

«Венька,

идёшь?»

стесняясь радости и мягкости, задиристо чуть-чуть

Всегда был Венька праздник для него

И Венькины глаза прищурились так радостно черно блеснули

И полотенце скомкал яростно отбросил

и уже кидаясь к двери

обыденное бросил на бегу навстречу:

«Иду, Андрейка, солнышко, иду...»

Словечко «солнышко» слетело серой птичкой-соловьём

с его лиловых губ,

напоминающих о тёмных сливах

Они друг друга сильно полюбили

Они поехали на пароходе на каникулах в Казань

Рабфак

Пошли к извозчику

а сердце Венькино так хорошо и больно замирало  
судорожно так мерцающе играло

Марк

Они давно мечтали покататься. И вот сбылось

И лошади пошли

копытами стучали, набирая скорость-быстроту

И пусть! И пусть!

Андрей!

Запел он:

Чьё-орный во-орон,  
што-о ты вьё-ошься-а...

Оно!

И сердце в бег ударилось

Ты мой!

волшебный милый голос давней песни русской

Пой, русский запевала

Я ведь знаю

каким внезапно страшным можешь быть  
когда не хочешь за царя молиться

Ох, пой!

Сокровище мое, Андрей!

Юродивый!

Поникший в песне колос

Прозрачный тонкий русский теноровый голос

Венька осознал мгновенно

с восторгом жути

их распятие и близость

Друг друга — тысячи мгновенных лет

Для Веньки песня русская была

свет недоступного

А для Андрея песня —

когда поют,

оно зовётся: песня, когда поётся

Однажды вдруг пришёл из леса человек

с большим и страшным пистолетом.  
И вот Андрея этот человек убил ножом.  
С тех пор Андрей убит,  
Андрей не может возвратиться...  
Век юный, век прелестно беззащитный  
Андрей уходит  
легко  
чуть выставив вперёд под пиджаком внакидку  
косточки плечей в рубахе белой  
Весь клонится чуть-чуть вперёд  
Андрей!  
воскреснуть хочешь ты в пространстве чёрном  
тетрады женской о восьми углах?  
Я умереть согласен за тебя!  
Но как спасти тебя от поражения  
и от бессмыслицы судилища грядущего?  
Так что же ты, не хочешь страшного преображенья?  
Уходишь лёгкими шагами навсегда?  
Я верю в светлое одно «когда-нибудь»,  
когда, стеснившись у воды, усталые в тяжёлом споре,  
мы вдруг увидим:  
возвращается Андрей!  
Вот появился он в далёком далеке,  
он в пиджаке внакидку,  
узкоплечий молодой прекрасный светлый мальчик  
Не будет страшного суда  
И смертная рассеется большая тень  
Все просто обо всём забудут и воскреснут  
И увидят небо и увидят море  
И насовсем настанет ясный светлый день

## Простое стихотворение о часах

*Андрею Ивановичу  
и памяти Машиного отца*

Что мне принадлежит, оно ведь мне принадлежит  
и потому я говорю бесстрашно  
Бесстрашно говорю об этом  
когда часы оказывают оборот  
Ещё не догорела темнота  
Жизнь мертвецов река без дна  
и бездна есть она одна  
В такой тоскливой тягостно и скучной башне  
Твой старый сверстник раскрывает рот  
закинувши глаза навстречу смерти...  
Соседкой Сонькой скучно обезумев Смерть-Яга летит...  
И ты летишь в окно величины  
И он летит  
уже на стуле ноги  
его ступни  
уже лежит  
и просто...  
Сварог скончавшийся в своём жилище одиноком  
Сварог скончался  
причитают городские птичьи голоса  
вороньи воробьиные  
Сварог скончался  
Сварог скончался  
умер Бог  
великий Пан скончался  
Великий Пан скончался  
умер собиратель жизненной материи  
искавший рыскавший в мирских отходах  
новую дававший сумрачным изношенным  
измученным людскою

алчностью предметам выброшенным  
жизнь...

Железки спутанные странные

и деревяшки и резинки причитают  
молча и безмолвно тоскуют о его руках...

Над умершим Сварогом происходит множество хлопот

По телефону голосит жемчужная далёкая жена

Архангел зять пустынь восточных дочь Мария

И ты приехал на трамвае друг Андрей

Волна Марина чёрный хлеб на чашу утешения кладёт  
на рюмку водки

корочку-горбушку

Часы уже «тик-тик» ему сказали потихоньку много раз

и скучно безумная Баба Яга соседкою ушла...

Он бедный друг твоих суровых дней он был

он дряхлый голубь свалок и помоек был

Он бог Сварог

он жил он был как будто часовщик

железную кровать заставив шкапом...

Такая тишина

какая тишина

И дочь приедет навестить его

в раю который дачная деревня...

Лишь ты не уходи...

я много...

мысли...

безумные...

бумажные листки...

Я много раз на них тебе сказала:

Не уходи, не уходи, не уходи!..

Кричала наконец...

Кричала мыслям...

В окно великое влетает снег и солнце

летит мой светлый юноша Андрей

влетает снег и прилетает солнце

День снегопадный солнечный Андрей летит...

Не бойся

говорю себе

Не бойся всех несчастий!

Он с тобой

себе сказала...

Андрей Иванович как маятник больших-больших часов летит

в окно высокое окно

размахиваясь в око высоты

сиянием

сверкающего острого

Слепящий копыеносец

И осколками взлетает светозарное стекло

Андрей мой светлый юноша влетает

Андрей влетает снегопадный день летит

Андрей Иванович мой мальчик мой Андрей летит

Летит летит летит

Лети лети

Андрей Иванович лети лети

Андрей мой мальчик светлый юноша

лети лети лети

Я так люблю тебя...

к щекам ладони в чувстве...

Я так люблю тебя

Я до того люблю тебя

Лети лети лети...

В той комнате где затхлость молчаливая

часы поют

Календари качаются на веточке-веревочке

подвешенные вдоль

Календари

чтоб время покорить

чтоб время покорить

календари

Календарями время покори



их много сразу повисает в этом воздухе  
                    святилищного мира комнаты Сварога  
Пятнисто-разноцветно зеленея  
                    трава Манё и Аржантей Сислея  
Так солнечно-пятнисто зеленея  
Дыши календарями и лети  
Наверно невозможно быть свободней  
                    от времени  
                    а всё равно в пути  
Не отыскать  
                    навек не найти  
Не надо! Неужели никогда?  
Я не хочу, люби меня сегодня!..  
Он отдавал часы в другие города  
                    часы в ответ навстречу возвращались потихоньку  
                    и тихо и спокойно говорили: «тик»...  
— Я вам клянусь, что Гитлера «Моя борьба»  
                    всего лишь навсегда ответ на книгу Макса Брода  
                    «Im Kampf um das Judentum»  
— Андрей Иванович, такое разве может быть?  
— Клянусь...  
Клянётся...  
И тогда я говорю:  
                    Мне совершенно всё равно  
  Летим  
Уже сказала  
                    Совершенно всё равно  
  Летим  
Куда он превращается, душеприказчик этот Кафки?  
Я не знаю их  
                    Летим  
О эти корни, вот они, корявые и грязные,  
                    заволочились, не таясь,  
И тяжестью ужасной и противной пригибают всё упорней...  
Но мы хотим быть лёгкими, лететь,

мы отвергаем темноту и грязь.  
И мы небесные себе придумываем корни,  
Которые взлетают, ошалев  
От радостного солнца,  
и летят, играя  
В пространстве пестроцвётном,  
и сияют и сверкают будто шлейф  
Прекрасной Беатриче на страницах Рая...  
Там, где станция метро «Крылатское»,  
она Андрею протянула руки —  
небесная красавица...  
Куда улетел Григорий Иванович, Машин отец?  
Куда улетела Беатриче?  
Куда летел Макс Брод  
навстречу  
созвучия занятные  
«Максвелл» «Москва»...  
Мы улетим Андрей Иванович  
мой светлый юноша  
моя душа  
Мы улетим  
увидим небо  
Часы проснулись быстрые, как будто Лазарь,  
и голосом отца в сознании Мариинном  
в дожде сказались ей обыденные неволшебные  
советные слова отца  
Часы сказали ей отцовские слова...  
Он раздарил часы по разным городам  
и все часы повозвращались к нему...  
Ты стал часы  
Часы Андрей  
Ты тоже стал часы  
Часы проснулись и встают как быстрый Лазарь  
идут идут размеренно вовнутрь  
как быстрый Лазарь сильный и большой

как человек в чалме поднявшийся идёт вовнутрь  
весёлый тополь чтец весеннего Корана  
и весенний сладкий хлеб

Любимый тополиный толкователь  
весеннего Корана в замке островерхом  
и певучий долгий хлеб...

Я на руки часы взяла  
как будто маленького мальчика  
и тоже мне они сказали: «тик»  
«Тик-тик, Андрюшенька», — и я сказала им...  
Но их нельзя носить на ручках  
как ребёнка  
они должны стоять на столике или висеть на стенке  
Андрей Иванович сказал...

Андрей Иванович летит летит летит  
Я тоже улетаю в зеркало в пыли большой  
на этом еле дышащем комод

Ты старая  
оно сказала мне  
Андрей Иванович я разве старая?  
Он улыбается глазами  
не разжимая губ  
и после отвечает:  
Ласковая девочка моя...

Душа согрелась так тепло ответил  
как варежки мои на батарее в комнате его  
где за окном кормушка птичья из картона голубого  
на балконе зимнем

А в комнате совсем тепло моя душа согрелась  
Андрей Иванович лети лети лети...

И нет, не мог мне сказать,  
говорить,  
не мог такое...

И в зеркале по-прежнему я страшная стояла  
нечистая и мелочная

испещрённая противными грехами...

Но всё равно...

Андрей сверкает снегопадный день

сияющее солнце Беатриче

сияюще взлетит неслышимой пчелой

отвергнув скучного Лозинского

Андрей взлетает снегопадный день

метро «Крылатское»

навстречу Беатриче

протягивает руки высоко

А Данте здесь откуда?

Правда, странно?

Его читал Григорий Иванович, Машин отец,

копитель брошенных на произвол судьбы предметов

хранитель вещей, потерявших судьбу,

Он заблуждался в сумрачном лесу Италии времён...

Я не хочу быть недостойной рая

так страшно уходить куда-нибудь ещё

Андрей, прости меня за всё и уведи

спаси меня

В метро

на станции «Крылатское»

над эскалатором воздушно замер светлый юноша

Он остановленно летит

как будто бы идёт по воздуху над лестницею чёрной

Андрей Иванович,

ребёнок,

деревенский сильный мальчик,

худенький старик

Андрей

моя душа

мой светлый юноша

опять, опять

Я не боюсь обид, я не боюсь насмешек

Я не боюсь!..

Андрей!

Мой светлый юноша,

моё смятение,

моя беда!..

Куда

летишь над этой бедной преисподней?..

Не надо! Неужели никогда?

Я не хочу, люби меня сегодня.

**По направлению к Свану**

# *По направлению к Свану*

*Роман-эпопея*

— Слушайте, слушайте! — позвал меня Лазарь Вениаминович. — Слушайте моностих:

Даже белая ворона каркает, а не поёт...

Лазарь Вениаминович закурил, положив небрежно и с таким занятым изяществом ногу на ногу в кресле-качалке, и — задумчиво —

— Мне сон приснился вчера, будто история — это океан, где одни корабли плавают на поверхности, а другие — лежат на дне... А как же тогда поступательное движение?.. Или нет никакого поступательного движения?.. Чёрт его знает!..

Иоселиани,

Дмитрий Александрович,  
подписывает свои стихотворения псевдонимом

«Сван»...

А я люблю, как пишет кое-кто,  
когда он пишет:

«Птица с острыми зубами»...

И упадает Карамзин без чувств  
и стонет:

«У птицев нету зуб!»...

И дремлет Карамзин,  
покоится до сладостного утра...

И птица с острыми зубами — птеродактиль —  
планирует с огромной высоты,  
рвёт острыми когтями пудренный парик  
и озаряет голову смешного  
кого-нибудь,  
безумца золотого,  
тернистыми цветками-мотыльками.

Неволя та — горька,

И сердце то — не камень...

И пиршествуют лучшие умы

бодается с вороной на дубу»?



Вполне поэма.

Таньку эту я в гробу  
видала.

Было мало...

«Вместе книги читали, а после и дети пошли»...

Я знаю: Мандель — это пряник или коржик.

Но пряник или коржик — это слишком сладко.

И потому его я называю «Бублик»,  
от слова «бубликация»...

Нет, я не буду  
писать о череде грузинских испытаний  
в большущих северных трагичных лагерях.

Не буду,  
нет.

Я напишу другое...

Что рассказали вам  
и что вы приняли на веру?

Что вы запомнили?

Что в памяти осталось вашей  
от отца, к примеру?

Конечно, тривиальная улыбка;  
руки, разумеется;  
а хвост — едва ли.

Вы глупые непоэтические люди,  
вы не угадали.

Не угадали.  
Научиться надо вам.

Читайте дружно все,  
как пишет Сван:

«Революция как раз  
Поднимала свой топор,  
Чтоб кроваво завершить  
Меж сословиями спор.

Завертелось колесо,  
Наломало кучу спиц —  
Поднималось большинство  
Против умных единиц.

Взяли власть большевики.  
С ними был и мой отец, —  
Комиссарил он тогда...  
До — в станице был кузнец.

Умер он в мой третий год.  
Помню куртку чёрной кожи.  
Елисеев Александр  
Был красавец и пригожий.

Метр и восемьдесят рост,  
Добродушен, не лукав.  
Я совсем его не помню:  
Только спину и рукав...

Был директором он в банке,  
Поднимал потом завод  
В Кривом Роге. Может, там  
Просто пущен был в расход.

Где родители сошлись,  
Не дано мне было знать.  
Факт один, что я рождён,  
Но фамилиею в мать.

Был меж ними уговор:  
Если первым будет сын  
И, конечно, не один,  
Пусть продлит он род грузин.»

Так пишет Сван.

И птица с острыми зубами  
летит над всеми нами.

Он, ребята, прав.

Он есть поэт.  
Он только спину и рукав.

А вы?

Лицо  
кольцо  
дрянце  
Улыбку  
рыбку...

Добро пожаловать!

Входите на постой.

Садитесь, я вам очень рада.

Раскиньтесь на покой.

Хотите винограда?

Я флейта,

но играть на мне нельзя;  
возьмите скрипку.

Я всем прощаю вашу дикую ошибку...

Ещё он пишет —

слушай, тёмный люд! —

«Годы прошли, и остатки пройдут»...

А вы как думали?

Пройдут леса и голоса.

И затянувшись остро сигареткою «Житан», пройдёт краса.  
... все тези жълти долнокачествени «Житан», чиито фасове  
изглеждаха неестествено дебели между деликатните й устни.  
«Каруцарски маниери» — мислех си аз...

И напролом,

в толкучке,  
злясь и чертыхаясь,

Жизнь полосатая куда-то прётся,

задыхаясь...

А вы как думали?

Теперь смотрите!

Годы

конвойные прошли,

сжимая ложа трёхлинеек.

По снегу проскрипели сапогами:

туп-туп-туп —

«ты — труп».

И месяцы трусцой неловкой

бегут,

они отвисшими трясут задами

с папками под мышкой делопроизводства.

Они чего-то пишут за столами

в «почтовом ящике».

Они чего-то чертят,

чего-то защищают,

диссертационное такое...

Но идёт неделя...

Неделя толстой сладкой Галей

навалилась —

целовать...

А день с детьми за ручки пробежал бегом

в звенящий детский сад,

чтобы успеть в автобус —

и на работу...

Эх, как время понеслось!..

Час-юноша летел на пляже в Кобулету,

чабукианисто кидая ноги вверх...

Прекрасный, смуглый, в тесных синих плавках...

такое «У!», такая «Пиппа танцт»...

в полёте солнца, ветра и песка...

живой задорный час оттанцевал своё...

Минута Ариадна

в белых босоножках Шангелая,

закинув косы тонкие на груди пиалы девичьи,

прошла  
и юбкой кругло колыхнула  
над лёгкими девичьими ногами...

Боже мой!

Секунды в юбочках коротеньких вприпрыжку пролетели  
мимо маленького —  
мальчик-с-пальчик —  
ах! —  
тебя...

Нет, это просто детство в памяти твоей, как солнце,  
как солнышко...

А мы всё ждём чего-то...

и в ухо дудим непокорной жене

Маргарите Васильевне:

«Бу!»...

И жизнь прошла.

Последние секунды пролетели.

Последние секунды пролетели.

Жизнь прошла.

Вся жизнь прошла!

Мы удивляемся от боли —

как это может быть, чтоб жизнь прошла?

Смотрите!

Жизнь проволочила ноги,

венами опухшие,

прошла с кошёлкою отвисшей на руке морщинистой,

куда-то там

в еврейский центр «Хам-дам» за банкой супа

благотворительного...

И уже конец.

Остатки положили в гроб и отнесли на кладбище

и закопали.

Могильщик Слава Голубь речь толкнул с холма.

Речь-Танька, заплетаясь длинными ногами в грязных сапогах,

была такая:



Я не успела разглядеть ужасные скривлённые черты  
её жестокого, безумного и тёмного лица...

Я знаю эту речь.

Она была Татьяна.

Она была Колисниченко Тата.

Я знаю эту речь.

Она была

большое половодье, мутный Дон;  
она была Дунай алано-осетинский;  
она была Туретчина;  
она была

молва славянская,  
на греческой грамматике настояна,  
как будто на спирту;  
она была с еврейской буквой «шин»,  
плывущей по Дунаю кораблём по Волге  
варяжским  
с иудейским лоцманом...

Она была...

Она была спелёната в далёкий долгий край,  
Когда рождалась только звуками в большом улусе...

Когда черницей петъ падёт Марусе

Чурай...

И шлях зальётся темнотой,  
Запышет жаром степовым дорога...  
Тогда и я проснусь в корчме густой,  
И выйду на порог и стану у порога.  
И тонкой молодой,

взошедшей полумесяцем рукой

я отведу беду,

Как прядку чёрную от жаром пышущей своей щеки,  
и вновь на вышитое полотенце сердце выну.

Пойду, уйду и запою,

пойду, уйду.

И выскажу Татьяну и Марину...

Чи тільки терни на шляху знайду.  
Чи стріну, може, де і квіт барвистий?  
Чи до мети я певної дійду,  
Чи без пори скінчу свій шлях тернистий, —  
Бажаю так скінчити я свій шлях,  
Як починала: з співом на устах!..

Она покинет и могильщика:

она уйдёт,

когда насытится страданием, тоской и мукой...

И сколько ни аукай, гукай над разлукой...

Когда-то в темноте степная пыль

Она была.

И снова станет пылью.

Над ней Силенциум — серебряный ковыль

Свои раскинет восковые крылья,

свои покинет восковые крылья...

Родная речь.

Её когда-то

звали Тата

Колисниченко.

Помню я, когда-то с ней

На факультете дождевых червей

Мы все учились вкривь и вкось куда-нибудь —

я, Татка, Юра, Феликс, Клара, Лазарь,

Андрей Иванович,

трофимовский колхозный инженер,

поэт

из МТС...

Мы стреляные были червяки.

Учили нас летать и петь большие гуси.

Я помню, как домашний и дремотный старый гусь,

уже с утра совсем немножко пьяный,

читал нам раз в три дня спецкурс:

«Крылатость

и технология полёта вверх».



Я помню утку,  
        добрую, худую,  
                        немножечко щербатую фаянса,  
        обложенную луком и картошкой жареной...  
Вбегала быстрым бегом,  
                        говорила «Здравствуйте!»  
восторженно  
        и улыбалась, как Мазина,  
        с себя откидывала прорезиненную мокрую пелёнку...  
Нас всех она учила вверх взмывать  
        и петь классически над розой соловьями.  
Я помню, нам преподавали мыши,  
                        немножечко слепые и глухие;  
        но не летучие,  
                        конечно, нет.  
Нельзя, чтоб технократию полёта  
        преподавали птицы или мыши  
                        летучие.  
Запомнился экзамен.  
        Такой экзамен!  
        Мышь попалась —  
                        зверь.  
Андрей Иванович берёт билет.  
Вопросы:  
        Хвостовое оперенье гуся,  
        Особенность полётности цыплят,  
        Летучесть молодых мышей-вампиров...  
Ах, как он разошёлся, как он отвечал...  
И мышь сухой лапкой выводила «отл.» в зачётке.  
Ах, как он вытирал платочком носовым лицо,  
                        и улыбался нежно-простодушно-добро...  
Над чем, зачем смеётесь, молодые?  
Между прочим, жизнь ушла.  
Ушла на то, чтоб осознать, что у Андрея  
                        Ивановича

нет и не было хвоста.

Не все перенесли такое осознание,  
многие спились, как Татка,  
сделались речами  
могильщиков...

Но ведь она уйдёт  
и не останется.

Она уйдёт, поймите!  
Насытится тоской, бессмыслицей и мукой,  
и уйдёт...

Она уйдёт, оставив только память.

Как мы учились?  
Хорошо учились.

Кто канитель тянул,  
кто жилы у кого-то,  
кто за душу кого-нибудь тянул,  
кто дольше протянул, а кто короче,  
и многие тянули честно лямку.

А мы,  
я, Татка, Лазарь и Андрей Иванович,  
однажды взяли вдруг и полетели.

Ведь это же легко —

«Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя  
под коленки — ту же, как можно ту же, натужиться надо, —  
и полетела бы. Вот так!»

Вот так! Вот так!

Мы из себя тянули радостную нить,  
И вот однажды перестали приходить;  
Замкнулись в кокон мыслей и причуд,  
Ушли в себя,

и это было труд.

Шу-у! Полетели...

Даже старенький один червяк  
в итоге оказался гусеницей  
и летит...

Шу-у! Полетели...

Оказалось вдруг,  
что все мы оказались мотыльками,  
а не знали сами.

Уже летаем полтора часа.

Ещё осталось двадцать два и половинка.

Считай, вся жизнь ещё осталась впереди.

Нас было много на весёлом корабле,  
мы палубными досками плясали пасодобль.

Мы были молодые;

верили, что старости не будет;  
не будет никогда...

И топали ногами по земле...

Нас было много на весёлом пьяном корабле  
весёлых дураков и мудрых идиотов...

Андрей Иванович любимый навсегда.

Конечно, да.

Я знала многих там Андреев.

Ах, жизнь, ах, время,

как же вы гуляете, такие буйные,  
прекрасным и высоким телом

Андрея, молодого мужа моего...

Мои тихонько руки

идут великим шёлковым путем большого тела  
мужского

и встречают на пути своём  
родные чудеса...

Одна нога

танцует полонез;  
а мы — Эль. Вэ. и я —

подыгрываем ей,

играем на цимбáлах,

как Янкель-цимбалист...

Зато нога другая бьёт босой подошвой в пляске

деревенской русской,  
воронежской...

Пань эритроциты с пиками наперевес идут на пушки  
русских лейкоцитов.

Тайный уд встаёт княгинею Сангушко.

И не может быть,

чтобы такой не был дан великому народу...

А пальцы рук художника вступают волонтёрами варшавскими  
в ряды полков Наполеона.

И переходит нос великим забубённым гренадером через Альпы,  
испытанный суворовский солдат...

Одна рука зовётся панна Зося

и по всему повету славится красою  
и щеголяет лентами в уборе ярком.

Другая, Марья,

с Пугачёвым жжёт крепостников усадьбы,  
мотается в седле казаченька сумная...

Один красивый глаз

прохладной серою глазурью горделиво светит,  
раскрытый широко;

его зовут Марина

из Грубого.

Марина чуточку похожа на Беату,

давнишнюю Тышкевич,

только пострастнее,

такая сильная, народная такая,

в переводе Ходасевича,

в прекрасных русых косах

и в синей юбке,

с топором узорчатым в руках...

А глаз другой давно зовут Катюхой.

Она пастушка,

горничная,

дочь залётки,

любовница на Пасху...

Летят утки

да два гуся

по небесам простора

тоскливого  
такой-то крепостной России  
Мордовии...

Стуки-буки в лукошке  
Нет муки ни крошки,  
Мука не молота,  
Вода на болоте,  
Квашёнка на липке,  
Мутовка на сосне.  
Порхунчики-голубчики...  
Киштеде ды морадо!

Это русский рэп!..

Ты войди, моя лебёдушка,  
Ты войди, моя голубушка,  
Ты войди, моя жемчужина,  
Ты войди, груша зелёная...

Не хочется мне думать, что свободы нет...

Ах, эта речь моя,  
Колисниченко Тата.  
Она приехала из города малороссийского,  
основанного по указу  
Екатерины.

Там пила серебряную воду  
брызгом из колонки.

На речке мыла ноги,  
в палисаднике ходила босиком

По камушкам...

Творожным липким пальцы пачкала сырком,  
Облизывала пальчики

Была

Ребёнок и пчела...

Чорногора хліб не родить,

Не родить пшеницю.

Викохує вівчариків,

Сирок і жентицю...

Тогда весь юг,

всё то пространство нынешняя Украина

до моря Чёрного

была один зелёный золотой цветочный океан —

степь Гоголя —

Кайдацкий перевоз,

где нынешние Новые Кайдаки,

где мощных казаков навзрыд вершились драки,

где Геродота помнили дубы деды́,

где травами вились багряные гадюки,

где громился гром,

И строил крепость польскую Гийом...

Бувай счастливо,

Борисфен Славянчич!

Ещё вчера Гостята бар Коген

держал здесь перевоз для бен Ханукки.

Верхами здесь езжали

генерал Браницкий и Грицко Нечёса

в белом парике мучном.

Здесь Ваня Айвазовский,

маленький чеченец,

крещёный по обычаю григорианцев,

картинки рисовал поездками в столицу.

Елена Ган писала повести

и теософию грядущую рожала

неподалёку от Соборной площади,

где должен был стоять

на постаменте бронзовый стату́й Екатерины

Великой...

Здесь москальские войска вставали на постой.

Красавицы дивили сельской простотой.

Здесь Тата выросла немирною красой своею.

Нагорный город гульбищами Средней улицы встречал...  
Но кончено оно,

где Татина стояла школа,  
Больше не вернётся,  
не встрепенётся и не ворохнётся  
От синагоги деревянной

до фрески рухнувшей костёла...

Здесь все века насквозь проходит суд,

Где правду говорить мешает сердце.

Евреи Бабеля здесь больше не живут,

И не живут поляки и венгерцы...

Это здесь,

а там?..

Там, дальше, Венгрия, Словакия, країна,  
железная дорога, пароходы на Дунае,  
Вена!..

А-ме-ри-ка!!!...

где живо станешь из Ондreja Вархолы Энди Уорхолом,  
двужильная душа...

## Двужильная душа...

## Всё завертелось круто в блёстках жести

## Руками творных стрекозиных крыл.

Представьте, каждый день ходил он к мессе,

И вовсе ничего не говорил...

## Двужильная душа...

## Как далеко ушла

от красного вина и трёх коней Маргиты,

От белого вина и винограда.

## И позабыты

## Песня и баллада,

И статуи в провинции соборе.

И весь провинциальный этот клир

## Интеллигенции

В провинциальном споре...

Эх, поезд в Брно,

как ты умчался в мир...  
А Таты, маленькой красавки, бабушка Марина  
в прекрасном шушуне, подбитом польским мехом и  
побитом молью,  
и в каблучковых туфлях на ногах чулочных,  
С дитём-резвущою гуляла в Детском парке  
(когда-то — Яковлевском сквере)  
И присаживалась на скамейку в солнышке деревьев.  
И, надев очки большие  
в оправе из коричневой пластмассы,  
Рукою сухощавой в пышном рукаве приятно управляла  
седой пучок со шпильками;  
И резвою гремушкой рифм  
звенела девочке;  
читала вслух немножко педантически:  
«Старенька сестро Аполлона,  
Якби ви часом хоч на час  
Придибали-таки до нас  
Та, як бувало во дні они,  
Возвисили б свій Божий глас  
До оди пишно чепурної...»  
А Тата выросла как мавка...  
Чия ти, дівчино, чия?  
С черешнями-двойчатками на стебельках зелёненьких  
на ушках детских  
С веночком лент косичками  
танцуя польку в школьном зале  
в первый раз на сцене  
Перекинувшись косичками черно  
горстями — воду  
разблестевшись белыми зубами у ручья...  
Чия ти, дівчино, чия?..  
В пустом и солнечном весеннем классе музыкальной школы  
в окошках настезь  
прыгают берёзовые ветки...



И девочка вдыхает в горлышко певучее блок-флейты  
своё дыхание,  
такое сладкое,  
такое лёгонькое...  
розовыми нежными губами...  
И пианино «Seiler» в бабушкиной комнате;  
и первые стихи девчоночьи старательные  
в тоненькой тетрадке в клеточку —  
про осень и весну...  
В Москву, в Москву!..  
В колоратурный университет...  
И провожала Тату на вокзале мама Яся,  
учительница одиноких языков  
На поезд провожала дочь.  
А кто её отец, никто не знает.  
И провожал её Роман Сорока,  
Ромчик,  
С которым самый первый раз  
в девятом классе  
на комковатой тёплости земли  
в крутом овраге,  
отделяющем парк имени Шевченко,  
давнишний сад Потёмкинский,  
от бывшей  
архиерейской вотчины...  
Ах, Тата...  
Над нею, над её глазами,  
маковки мужской мальчишечьей поверх —  
Тиха украинская...  
И громада неба редкой птицею летит...  
Ах, эти дни,  
заполненные под завязочку варёной кукурузой —  
бесстыдно ярко-жёлтой пшёнкой из ведра,  
и вишнями в садочке  
прямо с деревца,

такими лаковыми, тёмными,  
сладкими такими —  
во! — с кулак дитячий...

Ах, эти дни  
летучей летней осени  
сухой и солнечной,  
когда плодоношенья духовитый воздух  
вкусно пахнет смертью;  
когда под старою вербой  
на одеяле байковом зелёном жёлтом на траве  
Роман Сорока, Ромчик,  
провинциальный мальчик-колокольчик жестяной,  
доверчиво окно, что жилы, отворяет Мальдорору, Ницше  
и Винниченко...

Тата, Тата, Тата...

Её на поезд провожала мать.  
А кто её отец, откуда знать...

Мне очень трудно рассказать о ней.

Она как дождь цыганка по отцу.

Мне очень трудно описать её.

Она мне показалась очень интересной.

Она свободно всё по улицам ходила

В просторной длинной юбке —

сильная нога —

вперёд коленку

Грудями в блузке жёлтой вышитой

вперёд сияла кругло

Широкие шаги и выцветшие позолотой ремешки блистали  
босоножек стоптанных на босу ногу

Она шагала,

голову откинув шало,

леди Чаттерли вокзалов

Она в цыганской юбке шла

широкой и цветной

Цветы крутились мятые на чёрном шёлке жатом...



«бух»...

Она стояла

вот она!

и белыми зубами бесшабашно огрызалась

дерзкая и смуглая лицом:

«Иди ты на петух!»...

Как на меня она взглянула в первый раз взглянула

своими чёрными ресничными глазами

Так посмотрела,

что у меня от восхищения, от радости внезапной  
захватило дух...

И было всё равно,

наверное, смешно.

И дверь стучала:

«бух»...

И первые приходы наркотические,

винтовые,

первые стихи под кайфом:

«Будила зора Лазара:

Устани горе, Лазаре!

Я дорóга, я дорóга,

я дорóга я...

На вино пие каймака,

а на ракия — първака;

на вино вади пищове,

а на ракия — ножове!

Я дорога, я дорога,

я дорога я...

Учих те, Гано, учих те, —

не можах да те науча

на моя пусти табие!..

Кога ме видиш луд-пиян,

срещу ми да не излизаш...

Я дорога, я дорога,  
я дорога я...

Градил Илия киля,  
градил Илия киля,  
градил Илия киля, ох, аман, аман,  
на п'ятя, на кр'єстоп'ятя.

Отдолу иде Ирина,  
отдолу иде Ирина,  
отдолу иде Ирина, ох, аман, аман,  
и на Илия думаше...

Я дорога, я дорога,  
я дорога я...

Нема моїх кіз... Нема моїх кіз...  
Є мої кози... є мої кози...

Я дорога, я дорога,  
я дорога я...

Спогадаймо давнюю давнину,  
Спогадаймо повість незабутню  
Про далеку вільную країну,  
Про стару Шотландію славутню...

Я дорога, я дорога,  
я дорога я...

Як я умру, на світі запалає  
Покинутий вогонь моїх пісень,  
І стримуваний племін засіє,  
Вночі запалений, горітиме удень.

І прийде той, чий образ я носила  
З піснями вкупі в серденьку своєму.  
«Вона для тебе сей вогонь лишила», —  
Його пізнавши, скажуть всі йому.

Він гордо скаже: «Ні!»...

Я дорога, я дорога,

я дорога я...

Изгадай мні, мій миленький,

Два рази на днину.

А я тебе изгадаю

Сім раз на годину.

Я дорога, я дорога,

я дорога я...

Співаночки мої милі,

Де я вас подію?

Хіба я вас, співаночки,

Горами посію;

Гой, ви мете, співаночки,

Горами співати,

Я си буду, молоденька,

Сльозами вмивати.

Ой, як буде добра доля,

Я вас позбираю,

А як буде лиха доля,

Я вас занехаю...

Я дорога, я дорога,

я дорога я...»

Она меня учила, помнится,

жевать с закрытым ртом.

И помню, как она,

сама с закрытым ртом жуя

кусочками какой-то пирожок вокзальный,

жёсткий и холодный,

так смотрела на меня

смешливыми своими чёрными ресничными глазами...

Тата

была талантлива.

Мне жизнь её казалась интересной и свободной.

Были у нее мужья,

Такие на слуху,

богатые и знатные,

актёры и поэты...

Наверно, раза два —

один актёр, один поэт —

И ей хватило...

Ещё я помню, как она тарелки била

зачем-то в ресторане ДзЭлЦэ.

И на неё какие-то писатели глядели толстые

осоловелой стаей кабанов,

и было

Веселье на её лице...

И, помню, Вознесенский

назвал её «цыганочкой»;

тогда считался тоже он поэтом;

и плюнула она ему в кашне...

Какой-то муж Арбатовой пытался что-то...

И не осталось абсолютно ничего.

Ни книг, ни платьев, ни колец, ни своего угла.

Она хлебнула лиха. Ей хватило.

Она за всю свою свободу заплатила,

Когда ушла,

не оглянувшись,

в чём была...

Но разве я про это?

Нет, я просто помню, как мы жили там,

В подвале на Кропоткинской,

в почти что выселенном доме

одичалом,

чутьочку похожем на заброшенную старую тюрьму.

Я помню, как мы целовались в самый первый раз,  
и было так душисто-царапуче горлу, носу моему,  
Когда она в меня дышала сигареткою «Житан»...  
... где «светлое море с небом слилось» —  
Балтика —  
над парাপетной Невой...  
Мы беспрестанно целовались,  
говорили друг другу нежные слова...  
Если ты выходила, я была беспокойна...  
Мы вдвоём чувствовали большее согласие между собой,  
чем порознь,  
каждая сама с собою.  
Между нами установилось чувство,  
сильнейшее, чем дружба:  
это было исключительное чувство  
возможности жизни  
только в присутствии друг друга.  
Иногда молчали целые часы;  
иногда на постели начинали говорить  
и говорили до утра...  
И что же дальше?..  
Что было дальше?  
Дмитрий Александрович увидел Тату.  
Он был простой, забавный, пылкий, пиздецовый,  
он был прикольный,  
был отец-любовник...  
Что было дальше?  
Дальше — строчка точек —  
.....  
Дальше я рассказывать о них не буду.  
Всё, что случилось с нами,  
Всё равно мне сделалось с годами.  
Они забыли скоро друг про друга.  
Они судьбой не стали друг для друга.  
Но больше я не видела её.



Не видела и не встречала долго-долго...

Так странно...

Кто они друг другу?

Ничего!

Нелепость неуклюжая — их связь.

И почему вдруг он?

И почему после него

Её не стало у меня?

Любимая моя,

мне это всё так надоело безысходно.

Я убежала бы на край,

куда угодно,

Где я могла бы стать свободна...

И даже ты уже не держишь.

От тебя во мне осталось только имя

какое-то.

Из этой жизни,

видишь ли,

нельзя уйти живыми,

А только мёртвыми

и молодыми...

Любимая моя,

мне ничего не надо, никого я не люблю,

давно уже я ничего не чувствую...

Любимая моя!

я так устала.

Мне надоело человечество

историей своей.

Хоть грабь оно, хоть зарься, хоть лютей,

Хоть всех кругом передави своих людей,

мне всё равно.

Мне было жаль тебя покинуть,

а теперь,

Когда идёшь ты по кладбищу

мрачно и сумно,

такая страшная!

мне всё равно...

Не уходи,

опять люби меня,

останься!..

Рай тошнотворства Пушкина закрыт.

Мы все ушли на фронт поэзии

по направлению к Свану.

Дан приказ тебе — на Запад, мне — в другую сторонú.

Мы все ушли на битву, на войну.

Мы открываем школу таракану!

Мы выступаем против натисков чумы.

И не отступим, не сдадимся мы.

Мы будем драться, мы их разорвём на части!

У злого государства,

у трагической судьбы,

у страшной власти

Мы вырвем час, минуту,

пять —

смотрите! —

растопыриваю пальцы звёздно —

пять секунд...

Мы вырвем солнце и свободный стих.

И это будет наше!

а не их.

Моя любимая!

Моё родное говоренье-речь...

Твой памятник — восторженный мой стих.

Кто не рождён ещё, его услышит.

И мир повторит повесть дней твоих,

Когда умрут все те, кто ныне дышит,

Ты будешь жить, земной покинув прах,

Там, где живёт дыханье, — на устах!

Разлукой смерть не угрожает нам...

Вы, детские секунды,

будем навсегда играть  
в мальчишеский футбол  
и в девочкины куклы-дочки.

Час-юноша, минута-девушка,

идите к нам!

Пойдёмте все по главной улице гулять.

По Бургунди́ с бутылкою вина

и руки друг у друга на плечах.

Сегодня мы гуляем навсегда.

Разлукой смерть не угрожает нам...

Лазарь Вениаминович закурил, положив небрежно и с таким занятым изяществом ногу на ногу в кресле-качалке, и — задумчиво —

— Мне сон приснился вчера, будто история — это океан, где одни корабли плавают на поверхности, а другие — лежат на дне... А как же тогда поступательное движение?.. Или нет никакого поступательного движения?.. Чёрт его знает!..

## *Каждое встречаение улыбкой*

*Роман-балет*

Вася Ногтев — это, знаете ли, у-у!

Василий Николаевич, профессор.

Однажды сын учителя из одного такого  
однажды земства.

И ещё позавчера

в какого-то Шанявского ходил учиться.

А также и на маёвку иногда ходил.

Кругом идёт война.

Она идёт с двадцать второго июня.

Она бушует и она идёт  
вперёд.

А не назад.

В распахнутые настежь нараспашку плачущие женские  
плаксивые глаза  
идёт война.

Она

совсем народная идёт  
вперёд.

А не назад.

И бабы в голос голоса  
открытым странноватым звуком...

Погоди машина ехать

Погоди свисток давать

Надо с милым попрощаться

Восемь раз поцеловать!

Ноябрь уж наступил.

Все люди отряхнули зимние пальто.

Никто

не ждёт весны.

Кругом идёт война, и потому нигде  
игрушек нет.

Василий Николаевич безмолвно покидает

уединённый кабинет,  
на брови шляпу фетровую надвигает.  
И  
по стогнам городским летит сюда-туда.  
А Васин братик — это, знаете ли, у-у!  
Комендант на Соловках.  
Все проходят друг за дружкой,  
он стреляет,  
убивает всех.  
Потом его убили тоже.  
И, понимаете ли, очень много жертв!  
Ну столько жертв —  
ну просто надоело!  
А Васю Муся ведь всё время ждёт.  
А Муся Рудакова — это, знаете ли, у-у!  
Она сказала: «Вася, только Вася!»  
Никому  
не дам  
поцелуя без любви!  
А только Васе одному  
дам  
поцелуй с любовью!»  
Муся у детской кровати сидит.  
Детскую вслух читает книжку «Доктор Айболит».  
Маленькая Рита в беленькой рубашечке  
за сеткой сидит.  
Чуковский — это, знаете ли, у-у!  
Такой ещё Лысенко — вышла муха за кота,  
за кого-то, крокодила, бегемота,  
почему-то, отчего-то...  
Вдруг Василию навстречу русский мастер поспешал.  
Вдоль базара городского  
старичок с зелёной бородою  
русский мастер поспешал,  
Андрейка Чегодаев.

Дмитриевич, между прочим.  
И ещё ведь Пётр Первый  
говорил ему, когда крестил  
сына у него,  
и говорил:  
«КакО ты, Ондрейко, дОма тОчишь хОрОшО!  
Хорошенечко!»  
А Пётр Первый — это, знаете ли, у-у!  
Прорубил окно в Европу;  
все кричат, бегут куда-то кто куда...  
А он рубит!..  
Андрейка Чегодаев...  
Чегодаев, Андрей Дмитриевич, тысяча год рождения,  
специалист по истории движений...  
Он — русский мастер.  
А русский мастер — это, знаете ли, у-у!  
Так однажды подкуёт заморскую блоху!  
Будет сука знать,  
как танцевать!..  
Примечание:  
Сука — это блоха. Блоха — это сука.  
Пусть она стоит,  
как властелин судьбы;  
смело вскинутая на дыбы;  
гордая, как мухоморные грибы,  
В сумрачном лесу, где заблудился русский мастер,  
земную жуть пройдя до половины,  
Андрейка Чегодаев.  
И один лишь милый Терпигорев  
жалел его и говорил ему:  
«Андрé!  
Какое это Боже мой такое крепостное право ты страдаешь!»  
Он говорил,  
и все попили водку.  
Но только водка — это, извините, так банально.

А русский мастер — это, знаете ли, у-у!

Ковырнёт чего-то там такого

долотом своим

И вот уже готова

быстрый птица-танк!..

Уже в какое-то вчера

из вымытого нянечкой-уборщицей паркета классов

почти гимназии

имперской возрождённой

в сквер девичий весенний майский

вылетала дочка Маргарита;

резвилась в стайке девушек, смеялась;

и над чёрным фартуком поверх кофейно-

форменного платьяца подкидывала руки...

И на лицо её, такое нежное,

на тонкие восточные черты правнучки

персидского торговца,

восточные насмешливо и горделиво,

девически самолюбивые черты;

на это нежное лицо

летит каштановая тёмно прядка

ветерком наискосок...

Раскружившаяся Маргарита

Бадахшанские алмазы

грозы

на посольские приказы

песни

струны саза

Лазаря

лазоревые глаза...

Таволга!

Мы встанем рано-рано

сполоснём разгорячившиеся щёки

руки

сбрызнем из-под крана

Выбежим на Волгу,  
на какое-то диковинное, обещательное далеко и ширь...  
На горы выбежим, замрём, рванёмся  
романтически и русски,  
разорвём судьбы зелёное кольцо...

Лицо

любимой —

ты лицо

далёкого Ирана.

Лицо любимой — ты лицо большого каравана.

Лицо любимой — ты лицо дурмана,

Лицо любимой — волжское лицо —

ты лицо Рабии, Разии, Сании...

Как вырвемся однажды на Итиль!..

Мы разорвём судьбы зелёное кольцо...

Лицо любимой — ты моё лицо.

Лицо любимой, ты — иконописно,

персидски маленькое,

гречески смешное,

такое,

как персидкина рубашка,

узорно-очень-красно-золотое,

такое круглое, как будто греческая чашка,

где танцевание свивается в кольцо.

Лицо любимой, ты — лицо...

Уже сегодня

по ухабам склеротическим лица  
вчерашней Маргариты,

по её глазам,

циническим, бессмысленным и шутовским,

давно катаются грузовики,

старинные, гружённые картошками мешками;

И бабы все в платочках и набрякшие щеками,

трясутся на мешках, раздольное поют:

Погоди машина ехать



Погоди свисток давать  
Надо с милым попрощаться  
Восемь раз поцеловать...

И теперь Маргарита Васильевна сидит и кушает,  
похожая на спрятанный портрет  
ужасный

Дориана Грея...

Но ещё позавчера  
ребёнок в кружевной рубашечке, дитя,  
на день рождения подарка ждёт.

Поэтому вопрос классический:

Что делать?

А также — Кто куда?

Кто виноват? Где лучше?

И Почему зачем?

Проснулась маленькая Рита —

и детский «ах!» —

и на кроватке — танк!

А маленькая Рита — это, знаете ли, у-у!

Поломала танк ребяческими пальчиками,  
пушку отломала и катает кукол, как в коляске —  
би-би-би!

И прямо на филфак

Горьковского университета.

Ну а там

Лазарь Шерешевский — это, знаете ли, у-у!

Первый парень на деревне

города Горюшкина,

поэт!

Но, конечно, не такой, как Миша Шишкин;

тот у нас прозаик.

Вдруг напишет что-нибудь роман,

всех задавит мотоциклом и посадит в психбольницу,  
как де Сада!

И бегом в Швейцарию,

как Тартарен.

У-у, как теперь он окружён швейцарским холодильником,  
красивым и крещенским!

И никого не видит, и ни с кем ни слова...

Ну, а мы ему раздвинем

лёгким взрывом

тринитротолуоловым

толпу влюблённых критиков!

А мы ему накинем на плечо гадюку,  
пушистенюкую.

Пусть узнает,

как бывает!

Пожалуйста!

Четвериков, застёгнутый на пуговицы, ходит по Откосу.

Он гуляет.

И Вася Ногтев у него учился и работал с ним.

Четвериков профессор был,

генетик.

И немножко на то похожее, агроном,

теоретик.

И вот один гуляет, выгнанный с работы.

А внизу течёт спокойно Волга.

Все гуляют очень даже далеко,

все боятся,

очень жить хотят!

Может быть, в генетике и что-то есть плохое.

Защищать генетику уже немножко скучно

и банально.

Вася Ногтев и Четвериков —

они совсем не двое чудаков.

Они совсем не трое чудаков;

культурные,

но ходят без очков.

Ах, Вася Ногтев и Четвериков —

двое червяков.

«А что случилось? — Вася спрашивает маму. —  
Плачет Маргарита почему, скажите?  
Двойку, что ли, получила?»

— Нет. Сталин умер.  
И тотчас же Муся Рудакова  
воскликает:

— Надо чёрный бант!  
Чёрный бант к портрету прикрепить,  
пока не поздно...  
Поскорей, мой друг...

И вдруг —  
«А ну его к чертям!» —  
храбрый Вася Ногтев прямо в ухо Мусе  
полушёпотом вскричал...

Бабушка  
Екатерина Терпсихоровна Строфокамилова —  
старинный русский род  
ведётся от варяжского мурзы Каюка,  
в святом православном крещении — Евstrupий,  
канонизирован в год смерти Грозного Ивана.  
Известная дворянка, столбовая баронесса,  
купчиха высшей гильдии, княжна  
Дурская-Мещорская;  
такая меценатная славянофилка,  
окончила епархиальное училище,  
смолянка,  
фрейлина её величества Елены Двадцать Третьей,  
прозванной «Зеро»,  
то есть «Очко»,  
вследствие активности любовной.  
Императрица бывшая Елена много претерпела  
от жидов и комиссаров  
после революции...

«Ссуксисто — отэ фишмаз!» —  
так-таки говорил Тигрий Караваев Беглу Шофтляупу

В одной из далёких галактик,  
Далеко от Земли голубой,  
Где сегодня вам кто-нибудь платит,  
А завтра не платит любой.

А когда атесага Зелбирскэ срывает корону  
И насмешками тянется вверх;  
Вот тогда она входит в Коровьев,  
Как сенатор,

а может быть, как президент.

Извините,

это просто сиюминутные такие глупости.

Потому извините!

В одной из далёких галактик,  
Далеко от Земли голубой,  
Где сегодня вам кто-нибудь платит,  
А завтра не платит любовь...

А вот и книжка дога.

Она называется:

«Один сапог — не каскетка».

Ай, интеллигенция!

Ай-я-я-яй, что за идиот

Миша Гордон

его меньшей сынок Болот Бейшеналиев  
на солнышке сияет жёлтым задом  
Николай Бурляев

А что, если Андрей Тарковский  
надуется ещё,  
будет он шириной с Феллини?

Доктор, женатый человек, Живаго!..

... Нельзя же было по улице нести топор в руках. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Тут и родилась в нём сила. Старуха вскрикнула, но очень слабо. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь.

Он положил топор на пол, подле мёртвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровию. Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, он воспринимал всё совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания.

— А ты всё горишь и теплишься, свечечка моя яркая! — влажным шопотом тихо сказала ему Лара.

Он распрямился и потушил лампу...

Ай-я-я-яй! Лос корасонес...

Лихо подхватив под мышку

Маргариту и её стихов домашнюю тетрадку-книжку,  
Лазарь Шерешевский —

экое государство! —

едет в гости к Анне Андреевне.

Анандревна, наш отряд

хочет видеть Бродского.

И потрогать у него сами знаете чего,  
то есть почитать его стихи.

Но Анна Андреевна отвечает:

— Не просите ни за что! И лучше уходите.

Бродский улетел в метро,

и больше никогда не прилетит.

А мы опять спрашиваем:

— Анандревна, наш отряд

хочет видеть Бобышева.

И потрогать у него. Говорят, он ничего.

Но Анна Андреевна опять отвечает:

— Не просите ни за что! И лучше уходите.

Бобышев тоже улетел.

А мы всё равно спрашиваем:

— Анандревна, наш отряд

хочет видеть Наймана.

И потрогать у него

что-нибудь такое.

И тогда Анна Андреевна отвечает:

— Наймана, конечно, можно;

только очень осторожно,  
пожалуйста!

А мы опять и опять пристаём:

— Анандревна, наш отряд

хочет видеть кого-нибудь совсем такого.

И потрогать почитать

у него его стихи!

Но Анна Андреевна отвечает опять и опять:

— Не просите ни за что! Уходите, уходите!

Кто-нибудь совсем такой

больше никогда!..

А чего стихи —

не хуже,

чем у Беллы Ахмадулиной.

Чемубелло всё оно

вполне.

А Белла Ахмадулина такая, знаете ли, у-у!

Говорит: «Не подпишу

ничего про Пастернака!»

Гордая была.

Уговаривали долго,

угрожали исключением из института,

из литературного и хуже.

И не исключили почему-то.

А совсем наоборот, включили!

Приняли в писательный союз и дали новую квартиру,

новую квартиру в самолёте,

дачу в Перегулинском посёлке —

Белле Ахмадулиной и Пастернаку.

Только подошли они,

а им Кудимова как даст!..

Анандревна, наш отряд

хочет видеть:

а) непонятно почему, Войновича  
бэ) Анри Волохонского  
цэ) Татьяну Гнедич...

и...

ещё кого-то вэ...

И это всё можно,

только не нужно,

потому что когда их,

то и они тоже всех,

кто их...

Ну, хорошо,

я вам скажу честно:

потому что когда их всех трогают, они пукают...

Извините!

Ради Бога, извините!

Это просто ужасное такое слова.

Извините!

Не оскорбление,

а просто —

интересное воспоминание,

чтобы интересно было жить!..

«Автор умер!» — говорят,

совсем как французы, итальянцы какие-то.

«А мы, — говорят, — редактор».

Ну и что!

Я тоже люблю хорошенький журнальчик «Енотовое

тителатурное варенье».

Но я всё равно возьму мою хорошую девятизарядную

беретту

и буду стрелять в их мужские и женские животы,

пока они не перестанут получать деньги!..

Анандревна, наш отряд

хочет видеть прочитать

и потрогать прочитать...

Уходите, уходите!..

Анна Андреевна запускает к себе всех по очереди:

— Почитайте мне, пожалуйста,

чего-нибудь ещё!..

И ещё!

И ещё!

И ещё!..

Раз-два —

и взяли!

Всех выбросили на помойку.

Маша Ходакова бежала мимо

и махнула,

и подобрала

некоторых...

потому что добрая женщина

и пишет прозу и стихи

А мы как раз пришли к Анне Андреевне,

а её укусил комар и она умерла

Интеллигенция какая героическая всё моё...

Рита,

где ты?..



# Смерть Эзона

*Стихотворение, которое посвящается  
Памяти Дмитрия Авалиани*

В жёлтом эксомии  
с кружкой ячменного пива  
Он приходил  
и раскрашивал наши слова  
И разными притчами  
их на стене рисовал  
перевернув от последнего звука вперёд  
Много тогда прибеганиев и превращениев слов  
Родом из Фригии дальней  
забывший отцовский язык  
Притчами он разворачивал  
вдруг написания греческих древних основ  
«Дий!» — заорал неуклюжий возничий  
с двухколёсной повозки  
Нёс он пустую корзину для хлебов  
аттических сов

Умер Эзоп  
с ним раздавалось, возможно, плохое нечистое слово  
Собратья-рабы опускали кузнечные клещи  
О нём рассказали смешные, немножко ужасные вещи  
Он родил каких-то детей  
Он переворачивал наши греческие слова  
Он вошёл, зевая,  
                красивый и ужасно горбатый  
Богатый  
                монетами, стихами, притчами,  
                перевёртыванием буквенных слов  
От его сумасшедшего вида  
Сейчас же ложилась, влюблялась Клеида  
  в него.

А он в эксомии рабском

протягивал руки  
 мокрые крúги под мышками  
 От него пахло пóтом и гадким вином  
 Отвисшие чёрные щёки,  
 спина, гнутая колесом  
 Нос длинный и гнутый над его некрасивым прекрасным лицом  
 Кричали во сне  
 И снова рассказывал и рисовал на стене  
 угольком.  
 И приходил, где все лежали.  
 И все тотчас же привставали  
 и хохотали.  
 Он приходил такой весь согнутый,  
 где все лежали,  
 И все женщины хотели  
 его дружить  
 и от него детей имели.  
 Входил горбатый  
 в жёлтом рабском эксомии  
 повисший большим носом  
 Друг мой Квазимодо,  
 не надо  
 совсем умирать!  
 И, дохленький папирус постелив на подоконник,  
 Спартак серебряную рыбу ел,  
 как школьник  
 На переменке ест в гимнасии пирог  
 Медовый,  
 круглой твёрдой попой нагревая мраморный порог.  
 Эзоп рассказывал:  
 — Однажды на досуге забрёл я на корабельную верфь...  
 А все:  
 — Ха-ха-ха!..  
 А Эзоп:  
 — Лисица упала в колодец и сидела там...

## Одни его писанья-расписанья

Черты и резы Фригии родной,  
как детские спелёнутые куклы.

Грузинских сказок непростые буквы

Умер Эзоп

А вы сидите за компьютером в чистой комнате

Надёжно окна заклеены

Покровом снег летит стеклом,

но за окном надёжным.

И «Экерсли» старомодно раскрыт на столе —

три книжечки...

А в это время

Тенгиз Гудава бьётся вместо льва

И в Кавказе тоже Прометей прикован

и Орёл выклёвывает печень безобразно!

Друг Веденяпин, всем нам хочется туда,

где ужас мяса на снегу

— Но только я могу! —

сказал Андрей Царьградский

И умер Эзоп

Он говорил:

Там целый день идёт ужасный снег,

И тавро-скифы бегают на лыжах.

Они, как звери, всю природу слышат.

Природу так не слышит знойный грек!

Друг Никос Казандзакис говорил,

он повторял, что смерть или свобода.

И должна бессмысленно рожать природа.

Она других себе не представляет дел.

И что-то он ещё сказать хотел,

Стекающая кровь на острие ножа,

Отрубленную голову Михалиса держа.

Но чтобы развивать такую героическую прыть,

Ведь это Прометеем надо быть!

А теперь молодёжь говорит на языке,

не понятном старому человеку,

и пересказывает непонятные сказки,  
потому что

Умер Эзоп

Умер Эзоп в граде Цári

В граде Рáци О! умер Эзоп!

И Андрей Царьградский и Эзоп

бежали.

И «Дий!» — по-балкански закричал возница,

Средневековый византийский мних.

Помчалась колесница прямо в них.

«Дий!» — по-балкански закричал возница.

Античная живая колесница

Слоистое взметнула лезвиё.

Андрей Царьградский и Эзоп

упали под неё.

«Дий!» — закричал по-балкански возничий большой

колесницы.

И они побежали —

Эзоп, Андрей Царьградский, Сергей Иванов

Андрею что! —

лёг на дорогу, на твёрдый навоз,

руки закинул за голову,

такой, как всегда,

так нарочно пукнул извините на всех пописал

увидел Покров Богородицы

в небе очень высок

одной рукой левой из-за пояса вынул мобильник

позвонил Веденяпину,

сказал...

Извините, это плохие слова,

которые я не люблю.

Я не буду читать вслух эти плохие слова,

а попрошу кого-нибудь.

Наверное, Данилу Давыдова...

...блядьЕбуттамкогого?Сволочи!Негодяи!Изверги!скоты Ту-

соваться мудрено, блядь сука, сука, блядь, козёл, чокорогатый  
 а без этого херово, бля, пиздец всему! Трахнуть, толком не может  
 е, потаскухашлюха, базарил спацанами, базар вокзал, запахло  
 блядство. Ебётся как в анахуй, чё в натуре! Вышак, пизду видел два-  
 пальца, обоссать! Еб твою мать! пиздишь. Хули ты понимаешь тво-  
 я жопа, хуйня, бля, дятел, хуев! Сами охуели? Херово мне, жизнь ёба-  
 ная! Крайняк, вырубился, хуюшки балдеешь. Завалю всех вас! в за-  
 коне в натуре, спонтом, блатую, тинтеллигент, хуев, падла, борзый  
 петух, борзый. Масу, клили, зюра, бакс, анеу, хлит! Ёлки, зелёные, ла-  
 буда, беспредел, полный маразм, заебали, богохульники! Дачто за  
 херня, бардак, бля. Нахуй! Собаки!..

Мизра, Мизра, Мизраил!

Ты зачем ходил на Нил?!

Дзен, клейо, ти баркúла,

Дзен, клейо, та панья,

Мон, клео, тин Ксанфúла,

Пу пáи стин, ксенитья!

И море, и Гомер — всё движется любовью.

На страшной высоте, земные сны горят.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит.

Зелёная звезда летает.

И море чёрное, витийствуя, шумит.

О, если ты звезда, — воды и неба брат, —

Твой брат, Петрополь, умирает,

И с тяжким грохотом подходит к изголовью...

А Эзоп непременно

был раздавлен

Сергей Иванов закричал

прибежали какие-то

помощь

Там разные женщины куда-то бежали

совсем непонятно куда, и беда

чего-то рисунок совсем умирает

зачем

Умер Эзоп

Летел самолёт

Миша галл был Федотов  
Здравствуйте, Дима,  
это Андрей  
Никому!  
не говорите,  
что я молился всю ночь...  
Раздавлен Эзоп  
Не умирай,  
мой друг!  
До свидания, Дмитрий,  
не знаю, какой,  
батарейка садится  
Милый мой,  
ты у меня в груди...  
Не слышит Веденяпин,  
он читает  
учебник Бонка наизусть вчера  
И тихо помечает пируэт,  
где мистер Пристли в «Экерсли» вошёл  
неладный солнечный чудесный день  
А Веденяпин никогда не отвечает,  
он «Экерсли» читает,  
он с детьми гуляет,  
он сочиняет стихотворение,  
которое называется:  
«Покров»  
И больше ничего уже не надо  
В грузинском храме зажжена лампада  
Над гробом и над хором голосов  
И больше ничего уже не надо  
Не надо счастья никаких часов,  
И женщин, и стихов уже не надо  
В грузинском храме зажжена лампада  
Над гробом и над хором голосов  
Там замерли красавицы-старухи





Совсем разнообразными стихами.

И мы за ними гонимся.

И это —

Есть рай и счастье русского поэта.

Веденяпин там был пришёл Андрей

был это я распилили кости

костный мозг вынули старались поели

Пожалуйста, не надо умирать

Не знаю, почему...

До свиданья, до свиданья,

До свиданья три разá!

И ещё раз до свиданья,

Ваши карие глаза!..

Пожалуйста, не надо умирать.

Не знаю, почему!..

*Версия крысолова*

## Традиционный роман

Как нарушение старинных прав  
 Меня ожгут внезапные моменты...  
 Как запредельное...

Меня волнуют странно документы,  
 Передо мною на столе упав.  
 Уже бегут одни чудные имена  
         горящие в домах судебных,  
 А я вскочила от столов служебных  
 Огнем, горящим ветками и спичками на берегу  
         внезапной речки Леты.

Я прибегу  
и в страхе молчаливом и сердечном разочарования  
слежу цыганские рассветы.

Меня так просто напугать  
бессмысленным, пахучим сильно жизни телом.

Но я умею взять словесным делом  
и туков жизни злой воню прогнать.

И полететь.  
И знаете как высоко парить

## И говорить...

## Послушайте!

Однажды ночью ужас был такой,  
что я совсем и ничего не знала

И лишь с невероятною тоской,  
и только с имоверною тоской

Смотрела и воочью наблюдала,  
Как побежали все бегом скорей,  
И женщины все были бляди веда,  
И впереди всех золотых зверей  
Летели в крыльях волки и медведи  
Но это были страшные места  
Но это были страшные дела

И никакая красота  
Здесь не была  
Один лишь страшный ужас и зола  
На всех одних богов одна хула  
И царство злого молодого зла.  
Вчера одна бомбежка станет здесь  
Всё вдруг сожгли, все умерли случайно  
И только обезумленная тайна  
    в испуге целый день бродила здесь ходила  
Как на реке большие невода  
    идет поочередная беда  
Бежали крысы  
    крысы из развалин  
    бегущих стран и городов.  
Цыганской шапки верх засален  
    и в свой поход цыган готов  
Земля так хорошо гола  
На звуки флейты я пришла.  
Ты существуешь на страницах строк  
Ты существуешь в строках и нигде.  
Вы существуете?  
    Скажите, где?  
Я робко спрашивала их:  
    Кто вы? —  
    боясь взглянуть,  
        не поднимая головы  
                я спрашивала их.  
Они должны быть все в могиле,  
    они должны быть под землёй!  
Но я хочу!  
    И выходя передо мной  
Они поочередно говорили...  
Был первым славный мóлодец:  
    как жаркий летний гром  
        он шел сквозь жизнь,

которая бедою  
грозила вся ему...  
И сдвинув шляпу очень темную  
с пером,  
он вдруг свое лицо открыл мне молодое.  
— Меня зовут Антон Гаджино  
Мое прозвание «Чужой».  
Я не цыган с цыганскою душой.  
И вот  
в моем высоком справедливом послушании  
дружина.  
У всех мужчин цыганских пики и мечи  
У женщин шляпы круглые как нимбы  
и черные хвосты индийских кос  
А вы могли бы  
Стоять на королевских землях табором в ночи?..  
И днями вдаль идти,  
когда вокруг полным-полно враждующих людей...  
А мы поставили палатки на открытом у реки  
на зелени долины  
Девчонки лепят чашечки из глины  
по меркам круглых голых маленьких грудей...  
А я цыганский предводитель знаю цель.  
Она — в простом живом движении к цели.  
Об этом в наше время говорить умели  
Цыганские вожди:  
Синдел, Мигель и Пануэль.  
Пятнадцатый прекрасный век  
железного оружия и смерти  
И вы напрасно не поверите,  
что в пятницу, почти сегодня,  
был я Тошка Борщаговский, программист.  
Но пятница осталась вся вокруг  
и от нее совсем я чист  
И вспоминать о пятнице прошла охота.

Ведь впереди цыганский праздник и суббота!

В одних сорочках на окраине Парижа и едва

прикрытые плащами

Стоят цыгане

и по две серебряных серьги сверкают у цыгана

в каждой мочке

Опять расходятся поодиночке

А город остается далеко в тумане

И солнце

золотой серьгой

всплывает меж домами...

Штрихами контуры гравюрами Калло

Идут и едут тяжело

Идут и едут

И навеки затрудняют осознание

куда они, зачем они и где

их место рода...

О цыганка, ты беднейшее создание,

заслышав колокол, ты спустишься к воде,

И веточка жасмина в черных волосах твоих,

и зубы дикие и яркие — очищенный миндаль.

Не говори мне никогда, что утаила,

Когда сегодня уходила вдаль...

И вот,

едва Антон Гаджино замолчал,

как все заговорили разом:

— Я Мараус...

— Я Гроссенор...

— Я Минсбургетт...

— ... с тех самых пор

я здесь... Я Альбертина...

— Я Аннек Сейкел...

— А я Густе...

— А я Делэй...

— А я Элизабет Краколь...

— А я Люка́...

— А я Нина́р...

А я внимала всем рассказам

смеялась

и испытывала боль...

Один подросток мне сказал:

— А я Мейо.

Послушай приключение смертельное моё.

Моя сестрица Сансорин, родная милая сестрица,

последним хлебом с ней привык делиться,

хотел ей башмачки на ярмарке купить,

всего украл один дукат,

выходит — виноват!

Цыгана-вора по имперскому закону полагается убить.

Вот на помосте виселичном я стою

за то, что я люблю сестру свою!..

Я слушала повествований этих тривиальнейшие чувства,

Которые, как сказка, — вне искусства...

Совсем одни

гравюрами штрихами бурно проходили тихие,

Заполонив мои глаза;

Как только скрипкой разразился Бихари

От Влахии до Вены

и назад...

И в подтверждение всех нежеланий

завоевания

цыган поднялся созмани —

— Меня зовут Фейдал Юсуф Джура

Цыгане никогда не попытались

кого-нибудь себе завоевать.

Поэтому в их власти вся земля.

Они у всех в гостях.

И легкая земля, как пух, на их костях.

Я за невесту золотом платил калым.

Я-алла! Я-рахим!..

Простите нам грехи...

Прощай, Фейдал!

Вот Люба в пестрой юбке и в косынке назади узлом  
печально смотрит черными цыганскими глазами.

Она мне говорит:

— Я Люба с гатчинских лесов,  
хочу сказать от матерей-отцов  
и от детей,  
от множества цыганских мертвецов.

Они закопаны от Павловска до Красного села,  
Где в сорок первом,  
разумеется, ужасно роковом году  
война была.

И все они ушли дотла.

И до сих пор слышать их могли,

Они поют из-под земли...

И вытерла глаза концом большого полушалка,

И спрашивает:

— Вам не жалко?

И что же я могла ответить на такой вопрос...

Я промолчала, не скрывая слез...

Убитые на загородном страшном и пустом рассвете

Пугающими страшными тенями черноглазыми толпились дети...

А жало можешь ты всегда заметить

у разных пчел, шмелей, шершней и ос...

Идите с миром, Люба,

Мне, конечно, жаль.

Идите, будьте сфинксом без загадки.

Записывайте память в школьные тетрадки.

Пусть итальянская певица вам подарит шаль!..

Тогда пришла Мари Коген под городом Брабантом  
и говорит:

— Меня зовут Мари Коген.

Как веет ветер перемен,

Всё прах и тлен.

А я не плачусь на судьбы немилость  
Я в славном Гаммельне давно родилась  
Но я когда-то не была стара  
И хороша была судьбы моей игра.  
Мое сердце,  
                                красный камешек моего сердца,  
                                наверное, драгоценный,  
                унес цыган Андре Ромá  
Имел на лбу и на щеках он три клейма  
Как рукоять за острым лезвием ножа  
                                я шла за ним сквозь города  
О, было на него прекрасно полагаться  
Уже полвека прожил он тогда  
                                а мне тогда исполнилось пятнадцать...  
Этот мой стихотворный рассказ я сметываю на живую нитку,  
                                хотя я не умею шить...

### **Рассказ Мари Коген**

#### *Подстрочник этого рассказа*

— Моя мать рассказала мне притчу о птицах.  
Одна птица имела трех птенцов.  
Она хотела перенести их через море на своих крыльях.  
Она спрашивала каждого птенца:  
    Понесешь ли ты меня через море, когда я буду старухой?  
И двое птенцов пообещали ей это.  
И она сбросила их в море со своих крыльев.  
А третий птенец сказал матери,  
                                что он понесет через море не ее, а своих детей.  
И она оставила этого птенца в живых.  
Но я росла совсем другим птенцом.  
И выросла совсем другой птицей.  
И мне некого нести через море.  
Моя мать Глюккель из Гаммельна,



составившая свое жизнеописание.  
Мой отец Хаим Сегал Коген, торговец,  
но был хорошего рода,  
происходил от многих толкователей Священного Писания.  
Родилась я в маленьком городе Гаммельне,  
всего пять тысяч человек в этом городе было.  
Евреям неохотно позволяли селиться;  
так жили, боялись голову поднять.  
Отец мой был дорогим другом моей матери,  
своими утешными словами он смягчал горести.  
Он остался в ее сердце после своей смерти.  
Моя мать лишилась мужа вследствие чумы.  
Это произошло в 1638 году  
в городе Гаммельне.  
Моя мать вязала чулки и продавала их.  
Она и мои сестры плели кружева.  
Моя мать и в жару и в распутицу и в стужу  
ездила на ярмарки для торговли.  
Моя мать всегда помогала беднякам.  
У меня было много старших братьев и старших сестер.  
Ципоре нашелся муж в Амстердаме  
Эсфири нашелся муж в Меце  
А в Гамбург вышла замуж моя сестра Фройдхен  
Цанвиль скончался в Гамбурге, когда его жена носила  
во чреве их ребенка  
Анна умерла через двенадцать недель после своей свадьбы  
Натан женился на Мириам, дочери Элиаса  
Лейб женился на дочери Гиршеля Риса  
Самсон взял в жены Агату Гомперц  
Ненче Аснат содержала Авраама,  
честно торговала в лавке, давая ему жизнь для изучения Торы  
Мадлен была женою Арона Альфена  
Элlexен вышла замуж за Меира Ламбера  
Катрин досталась в жены Моисею Швабе  
Мордехай обратился в христианскую веру

Мой старший брат Моисей был убит на дороге  
разбойниками,  
когда спешил на собственную свадьбу  
Многих моих братьев и сестер я никогда не знала,  
они умерли до моего рождения  
маленькими от болезней.  
Мои братья женились молодыми после тринадцати лет.  
Все это случилось после смерти моего отца,  
которая была в 1638 году  
по исчислению лет христиан.  
Моя мать удостоилась большой чести,  
принцесса Нассауская прислала за ее кружевами.  
Моя мать говорила, что умные люди из разных стран мира  
пишут красиво о милосердии и доброте.  
Она читала немецкие книги,  
написанные евреями и неевреями  
Особенно хороша была «Книжица хорошей жены»,  
а также Mayse Bukh — Книга сказок и притч.  
Моя мать не знала еврейского языка священных книг  
да ведь и незачем женщине молиться и читать  
священные книги  
Женщина совершает себе очистительные омовения,  
и в память о десятине в древнем храме  
она отщипывает, благославляет и сжигает комочек теста,  
когда печет хлеб  
И она зажигает свечи  
в канун праздников  
и в канун субботы.  
Моя мать рассказала мне страшную сказку  
об Эльдаде-талмудисте, как он женился на дьяволице.  
Моя мать говорила, что жизнь так недолга  
и не следует много думать о наслаждениях,  
ведь никто не умирает, исполнив хотя бы половину  
своих желаний...  
Моя мать однажды сказала, что проказа и бездетство —

это наказания за нечистую любовь.

Должно быть, это правда,  
но я не прокаженная.

Моя мать обливала кипящей водой посуду,  
чтобы посуда была кошерной к празднику Пасхи.

Мои сестры делали кисти для молитвенных покрывал  
моих братьев  
и отливали свечи для богослужения.

В одном богатом доме, куда моя мать принесла кружева,  
я видела клавикорды

А на свадьбе моей сестры Анны били в барабаны,  
и танцовщицы танцевали с пестрыми масками на лицах.

Моя мать называла Анну милой девочкой,  
стройной и чудесной,  
стройной, словно елочка.

А я никогда не была милой девочкой,  
но все же мать ласково называла меня Марихен.

Однажды Анна сказала, что знает цыганское гадание  
Нужно бросить в стакан с водой золотое колечко  
и долго-долго смотреть,

покамест не увидишь лицо жениха

Анна долго смотрела и вдруг ей показалось, что черт  
хочет расцарапать ей щеки, поднявшись из воды

И она убежала из комнаты, а я стала смотреть

Но я увидела только весенний зеленый лес,  
который посмотрел на меня из воды

Мне было двенадцать лет, когда хотели отдать меня замуж  
но я забралась на чердак и обмотала косами свою шею  
и закричала вниз, что я удавлюсь

Больше никто не сватал меня  
и мать сердилась на меня часто

Однажды я пошла с матерью на мельницу за мукой

Там завелось много крыс и позвали человека,  
чтобы выгнать их

Этот человек был цыган, которого призывали морить крыс

Моя мать назвала это цыганским старым промыслом  
Он играл на дудке и руки держал так, чтобы закрывать губы  
Он свистел пронзительно и собаки выли на дворе  
Крысы выбежали из подпола и побежали к реке через двор  
и бросились в реку и утонули в реке  
Лицо его было бронзовое  
На лбу под волосами два клейма раскаленным железом  
Одно клеймо, оно как черная звезда  
Еще одно — как будто крест на лбу  
Еще одно — как будто маленькое колесо  
кровавой розой на скуле  
И это всё.  
Этот человек носил на груди ладанку с высушенной  
головой летучей мыши  
Унес мое сердце этот цыган Андре Рома  
Было ему пятьдесят лет, а мне пятнадцать.  
Мать послала меня на берег Везера мыть посуду  
Вдруг небо раскрылось и сделался день,  
а был темный вечер,  
и вдруг разлетелись искры  
И я подумала, это должен быть хороший знак  
Цыган Андре Рома пришел и увел меня  
и я оставила на берегу все кружки и миски...  
Помнишь, помнишь, Мари,  
Как бродили мы с тобой?  
И любил тебя, и целовал тебя,  
И твоей матери не оставил тебя.  
Ночью мы сидели у камина в корчме  
Хозяин и крестьяне курили табак  
Разговор перекидывался из одного угла комнаты в другой  
Андре Рома надел на один мой тонкий палец серебряное  
колечко  
и надел на мою шею серебряную монету на шнурке  
Он держал меня на своих коленях,  
я прижималась лицом к его плечу.

Никто не погнался за нами, не хотел вернуть меня.  
Мы вырвались однажды от врагов, бежали что есть духа  
А горлу не кричать, руке не задрожать,  
Когда кого-то я ударила ножом нечаянно и сильно в брюхо  
Не страшно было, даже весело бежать  
Мы были заодно, мы прожили, не ссорясь  
Тот раненый, я знаю, он остался жив  
И это вышло хорошо, иначе совесть  
Пришла бы по ночам, ладони к сердцу приложив.  
Дорогу преградит зима  
Так холодно, так мало пищи  
И волком по окресте рыщет  
Мой добрый друг Андре Рома  
Он входит, кутаясь в разорванный кафтан  
О камни пола стучается мерзлая  
        комками катышками падает земля  
Сегодня запыляет жарко  
Большой огонь в большом камине грязном  
        в углу подвальном замка,  
Полуразрушенного по приказу короля  
Вязанку хвороста украденного он бросает  
        и мне улыбку желтых и больших зубов  
        глубоких черных глаз  
        при свете сальной свечки  
На вытертом ковре сижу,  
        показывая другу маленькие груди  
        под юбкой круглые колени светлыми руками обхватив.  
На пальцах легкие блестят мои колечки  
Он молодым прозрачным голосом поет мотеты и рондели  
        на один печальный и живой мотив.  
Весна придет, как мы хотели  
Он подарил мне зеркальце, три золотых кольца  
  и шелковую шаль  
        и башмаки на каблуках и платье.  
Свет закружился вдруг

распахнутый весенний  
на высоком берегу  
Не размыкай, не размыкай объятье  
Среди цветов под небесами птиц  
среди поющих насекомых и раскинутых растений  
Он никогда не устает  
А я смеюсь тихонько и прошу:  
«Не надо больше,  
больше не могу»...  
Он был хороший человек  
он никого не убивал  
Мы так любили с ним друг друга  
Он был хороший человек  
он был хорош обыкновенно  
и немножко верил в доброту,  
мой добрый друг.  
Он грабил только тех,  
которые, как видел он,  
имели много денег...  
Он что,  
кого-нибудь убил?  
Нет, никого он не убил.  
За что же он на эшафоте?  
За что был заключен в тюрьме?  
Подумайте в своем уме,  
За что, за что его убьете?..  
Мари, я заточен в тюрьму  
девять лет и девять дней.  
Выросла у меня борода,  
тюремные ящерицы в моей бороде снуют...  
Умру, Мари, умру,  
от большой боли,  
от большой боли.  
Когда я умру,  
кто будет оплакивать меня?

Лесные птицы,  
Лесные птицы,  
Полевые цветы...  
И схватил отрубленную голову палач,  
ударил по щеке,  
и покраснела бедная щека.

Я начинаю плач  
Все слезы — как река.  
Я закричала: «Я люблю его!»  
Я одинокая ушла от эшафота  
Очень страшно  
по улицам идти,  
бояться смерти,  
умирать бояться,  
страшно умереть!..

Вот голова Андре Рома,  
вот голова

Набитая травой.  
Она вчера всегда была живою  
И будет вечно мертвая жива!  
Она моя!

Вот голова Андре Рома!  
Она была прекрасным верхом тела  
Она дышала сильно и хотела  
И думала о днях и о ночах  
И шла вперед на молодых плечах  
И — повторяю рифму —  
унывала в горестной тюрьме

И остается жить в моей суме,  
В котомке заскорузлой грязной,  
Я подниму ее  
и я несу ее над головой своей,  
когда иду по грязи непролазной!..

Вот так закончился рассказ Мари Коген...

Идут цыгане.

Под шелестение их тихих голосов

они во мраке все идут лесов...

Кто идет?

*Сѣнти, калѣ, карачѣ,*

*фечѣира, чингѣне, джамбѣза,*

*сѣрвы, дом, канджѣры,*

*лохѣры, банджѣра, чамѣры,*

*нѣри, халабѣ, матаклѣ,*

*влахѣря, рудѣря, урсѣря,*

*кѣлдѣрѣря!..*

Что же Тима Виноградов делает?

На коня взбирается.

Быстро он едет,

В лес добирается...

Граст конь идет ровно и легко

идет плавно

Задом крепко цыган сидит

как влитой

И чуть назад откидывается.

И поет запоем певуче:

*Кон авел эрят мато?*

*О Андрей Максимович ром баро,*

*Ле бичоса по думо,*

*Ле фѣсоса андо шеро...*

Кто идет ночью пьяный?

Андрей Максимович, славный цыган.

Кнут на плече,

шапка на голове...

Цыганская сигирийя рисовала моему воображению, ведь я неисправимый лирик, дорогу без конца и края, дорогу без перекрестков, дорогу к трепетному роднику поэзии, дорогу, на которой умерла первая птица и заржавела первая стрела. Цыганская сигирийя начинается жутким криком, который делит мир на два идеальных полушария, это крик поколе-



ний ушедших, острая тоска по исчезнувшим эпохам, страстная память о любви под иной луной и другим ветром...

О имена страниц «Столицы и усадьбы»,  
о строки рода, строфы смерти, стоны свадьбы...

Ужасный страшный русский зимний вой.

Таинственно горит цыганки песня

и певица Каталани

Восторженными бьет крылами,

Цыганке внемля кочевой...

Час-ро-ковой, ко-гда-встре-тил тебя —

фермато и паузы,

фермато и паузы,

фермато-о и паузы-и —

Страстно-безумно тебя люблю...

В зале цыганского хора мужчины,

Стройной обтяжкой на них казакины.

Лихо гитарные переборы,

Льва Николаевича разговоры.

А Маня,

Маня

ходит и поет...

В закрытом черном платье,

пуговицы так матово блестят,

бликует,

и белым шалевым платком покрыты плечи,

две черные косы легко,

почти наперевес,

гуляют в танце,

глаза, как молнии, чернеют и сияют...

Какие речи Маня говорит

гортанно нежным голосом

и понимает

Льва Николаевича...

За одной одна

приходят песни...

Режь ее!

Мелодия сильнее

Движенья рук быстрее и быстрее...

И руки падают

и плечи экстатически дрожат

Мелодия сильна...

Великий страстный Лев!

Он чувствует:

Она!..

Мы пообедали в трактире «Самарканд»,

где видели Андрея Новикова.

Приехал Пушкин —

Здравствуйте! —

взобрался на лежанку —

обезьяна этакий! —

с ногами.

Навстречу вышла Сарка-танцовщица:

ему напомнила нечаянно, какая Сарра Федоровна,

дочь Толстая,

такая,

совершенно сумасшедшая стихами,

сомнамбула,

умершая в семнадцать лет...

Грусть-тоска меня томила

На закате юных лет,

Словно темная могила

Мне казался белый свет.

В «Самарканд» поеду я,

Там красавица моя,

Там увижуся я с ней —

Сердцу будет веселей...

Конечно, с ней увидится,

с прекрасной и цыганской Ольгой,

для которой деньги тысячи растратил,

и по Владимирке на каторгу гулял...

Четыре строчки

Хор

Так старый хрыч цыган Илья,

Под лад плечами шевеля,

Глядит на удаль плясовую

Да чешет голову седую...

В мирской зале на Грузинах Танюша Демьянова сидит

Слышишь,

слышишь разумеешь

Танюша Демьянова сидит

Ах, матушка, что так в поле пыльно?

Государыня, что так пыльно?

— Кони разыгрались... А чьи-то кони, чьи-то кони?..

Саша, Саша, Саша,

Саша, Саша, Саша,

К нам приехал наш любимый

Александр Сергеевич дорогой!..

А обок Танюши

Машенька Шишкина сидит

Не вечерняя,

не вечерняя,

Эх, не вечерняя заря да спотухалася...

Лёва, Лёва, Лёва,

Лёва, Лёва, Лёва,

К нам приехал наш любимый

Лев Николаевич дорогой!..

А обок Машуточки

Катюша Хлебникова сидит

Дитя, не тянися за розой...

— Тирли, тирлинда! я — Психея.

Тирли-то-то, тирли-то-то.

Я пестрых крыльев не имею,

Но не поймал меня никто!

Тирли-то-то!..

Митя, Митя, Митя,

Митя, Митя, Митя,  
К нам приехал наш любимый

Дмитрий Владимирович дорогой!..

8 декабря 1850 года: «... ежели же будет свободное время,  
напишу повесть из Цыганского быта...»

28 декабря 1850 года: «... К вечеру с Николаем Горчаковым  
ехать к Цыганам...»

29 декабря 1850 года: «... Утром писать повесть, читать и иг-  
рать или писать о музыке, вечером правила или Цыгане...»

10 августа 1851 года: «... Кто водился с Цыганами, тот не мо-  
жет не иметь привычки напевать Цыганские песни, дурно  
ли, хорошо ли, но всегда это доставляет удовольствие...  
Я пел с большим одушевлением, застенчивость не сдержи-  
вала моего голоса...»

Цыганский муж гуляет Ваня черноусый,  
воротится поу́тру,

но она

покорная и верная цыганская жена...

Во мне душа трепещет и пылает,  
Когда, к тебе склоняясь головой,  
Я слушаю, как дивный голос твой,  
Томительный — журчит и замирает,  
Как он кипит — веселый и живой...  
И вот еще вчера цыганка говорила,  
Давала пальцы с кольцами колючими поцеловать,  
одно колечко тонкое на память подарила...

И плакал на вокзале ветер злой...

Еще вчера цыганка пела говорила,  
А нынче утром изошла зарёй...

*Чёры ромни тела подо*

*Аври ттол пехко диккло,*

*Котте жял о ппиволю щяв.*

— *Со кэрэсу ту, тэрни ромни?*

— *Аври ттав муро диккло,*

*Муро диккло кадо парно...*

Бедная цыганка у моста

Стирает свой платок.

Подходит холостой парень:

— Что делаешь, молодая цыганка?

— Стираю свой платок,

Свой платок белый...

И куда теперь идти?

Где мне голову склонить?

Нету денег у меня.

Бедная я девочка,

нет у меня паспорта...

У барака артели разбросаны металлические обрезки, мусор.  
В длинном узеньком коридоре липкая грязь. Не лучше и в  
жилом помещении. Здесь под непрерывный стук молотков  
по пыльному полу ползают смуглые черноглазые дети. Жен-  
щины готовят обед, чинят одежду. Мужчины масте-  
рят из жестяных отходов кастрюли, ведра, тазы...

Биби Настя, биби Настя, старая гадалка-обманщица

Мужа ее убили, сын кого-то убил

Мигуештей было двадцать четыре,

А ёнештей было четыре.

Мы разнесли их шатры,

Мы разодрали на них рубашки.

И грозятся те цыгане

Побить нас на дорогах.

Побьют они свои головы,

Свои головы глупые...

Цыганская вендетта едет на автобусе!..

Человек от человека живет,

человек от человека страдает!..

Цыгане все красивы...

Смотри, одна стоит на эскалаторе,

на движущейся лесенке в метро,

в цыганской пестрой юбке

босиком



*Дур ме дромү авилем,  
Ман о ккаму петярдяс,  
Мурэ вушту шутярдяс...*  
Долгий путь я прошел,  
Солнце меня изожгло,  
Губы мои иссушило...  
Дорогу не преградят бледнолицые,  
Не будет судьба пуста.  
Евреям, цыганам, крысам и птицам  
Ни к чему паспорта!..  
*Жявтар, дале, жявтар  
Дуруне ттеменде,  
Кай ман чи принжянен  
Чел ром, чел гажёрэ.  
Каринг годи ме жяв,  
Ся лулудя барён...  
Ухожу, мать, ухожу  
В далекие страны,  
Где не узнают меня  
Ни цыгане, ни чужие,  
Куда ни пойду,  
Всюду цветы растут...  
А ты мне говорил:*

«Я знаю, мы красивая семья безумцев,  
безумны ты и я...»

И я сказала: «Да!»

По свету мы идем всегда,  
И нам не строить и не рушить.  
И расцветают города,  
Ведь надо нам и пить и кушать...  
Земля разбросана войной,  
Но мы ребячьими горстями  
Ее раскинули страной  
Вперед игральными костями,  
Которые на много лет

Играют в пляске наш скелет...  
Возле чудесной, чудесной реки  
Мы поутру собираем узлы.  
На телегу погрузили:  
        перину большую,  
                ковер красный,  
                шатер дырявый,  
                казаны железные,  
                два котла, одну кастрюлю...

В путь отправились,  
В путь большой,  
Для цыган счастливый...  
*Бахтяса! Вояса!*  
Со счастьем! С волей!..  
Мы называем именами  
Судьбу кочевьего труда.  
Навеки Бог пребудет с нами!  
Мы были птицами тогда...  
Мы были призраки свободы.  
Сквозь все века, сквозь все народы,  
Как нож сквозь воду,  
        мы идем...  
Счастливый путь!  
        *Бахтало дром!..*



## Посвящение подруге

Н. Г.

Смерть — это такая жизнь.

И нельзя

уйти насовсем из какого-то места

откуда-то из чего-то

невозможно

Армянская женщина — это кентавр Меланиппа

из Голосовкера издание Детгиз потёртая обложка

растрёпанные страницы,

но я сразу поняла, догадалась,

что книжка особенная

Скачет Меланиппа.

Откинулась красавица девичьим торсом к конской спине,

закинула руку за голову и взбивает копытами воздух.

Вся горит она.

И, упираясь рукою о круп Меланиппы,

крепко обхватив подругу,

несётся рядом с ней огненный юноша-Бог

Авлабар, Нахичевань, Ростов-Дон, Баки, Тифлис

... где балконы во двор нависли

вздутыми животами женщин детных,

когда замызганные фартуки источают все дыхания стряпни.

Там, где Кура близ Девичьей башни

впадает круто в прекрасный

мутно-коричневый кормящий

титанический разлив Нильской воды

Это на Риальто,

где все улицы сворачивают в самый далёкий Авлабар

была художницей,

была одинокой старой молодой старой девой

примитивисткой

была в нарочно чёрном платье

короткая стрижка чёрных волос  
чёрными огненными глазами  
всегда  
исступлённо целомудренная  
фотоателье Калайджяна  
где-то на площади греческой болгарской Варны  
в мягких коричневых светлых тёмных тонах  
лицо красавицы

Где?

Это в Тифлисе на ступенях каменной лестницы  
«Рачья» — Огнеокая  
взмахнула «кави» — локонами чёрными  
из-под лечаки тюлевого  
по нарумяненным круглым щекам

Пришла-ушла

Микаэл

основоположник совершенно новой армянской  
литературы конца XIX века,  
умирающий от чахотки,  
нанимает у её отца,  
богатого торговца-базаза, сменившего архалух на сюртук,  
под балконом каморку-гроб,  
где переводит Пушкина,  
сочиняет рассказы о бедных и богатых  
и пишет письма ей.

А позади простирается пустыня

древнейшей словесности, где  
скитаются, сталкиваясь посохами,

Григор Нарекаци, Мовсес Хоренаци и Саят-Нова  
Дорогая Анна Сароян!

Почему вы ничего не знаете

о нашем прошлом,

о настоящем,

о нашей культурной и общественной жизни  
и даже о романе Абовяна «Раны Армении»?

Ваши движения, походка, речь — всё исполнено живого огня.  
Вы смеётесь, смеётесь от души, до слёз.

Я прислушиваюсь к вашему грудному голосу,  
к звонким переливам  
заразительного смеха.

Я люблюсь вашим несколько неправильным  
телосложением,  
восточная моя красавица!

Поразительно черны и блестящи ваши волосы.  
Заплетённые в одну длинную густую косу,  
они доходят чуть не до пят.

Особенно я люблю  
смотреть из окна, когда вы,  
свесившись с балкона, держась обеими руками  
за верёвку для сушки белья,  
качаетесь взад и вперёд и щебечете, словно ласточка,  
напевая песню —

крунк-журавль, нет ли весточки из родной страны?  
Всеразрушающая катастрофа нам нужна, чтобы камня  
на камне не...

А я научу вас.

И сад Муштаид превратится в парк Орджоникидзе.  
И, не колеблясь, принял бы Октябрьскую революцию,  
но умер надолго намного раньше.

Да,  
для того, чтобы она вышла замуж за учителя,  
нужна всеразрушающая катастрофа.

Потому что в истории человечества всегда так:  
для того, чтобы согнать муху с крошки пирога на блюде,  
надо сжечь этот город  
дотла!

И она,  
уже в шляпке,  
затянутая в корсет,  
производящая впечатление необыкновенности

сочетанием восточной красоты и почти парижской моды,  
входит в протяжённую историю маленькой  
этнокультурной общности  
как неразделённая любовь  
основоположника,  
умершего, разумеется, молодым-молодым  
Причёсанная директорша  
пери-ангел пушкинотворной российской поэзии  
плечи, открытые по-бальному,  
бриллианты стоят три тысячи рублей золотом,  
Ваше Величество!

... где  
книжный магазин Куюмджяна в Истанбуле  
толстая и стройная Девичья башня встала вверх  
в небеса Баки

Армянский переулок в Москве  
такие чёрные — ночь — волосы  
Александрия — улица Кавафиса

Почему грустно? Почему весело?

Потому что Антон Павлович едет, приехал

Я увидел

обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие  
когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне.

Передо мною стояла красавица, и я понял это

с первого взгляда,

как понимаю молнию.

А славная у армяшки девка!

Маша

уехала в Петербург, в Москву, в Куйбышев, в Горький,  
в Париж, в Ленинград

окончила пять классов Нахичеваньской гимназии, училище при Бакинской городской управе, «Заведение св. Нины», Бестужевские курсы, Институт красной профессуры, ИФЛИ, аспирантуру, Туркестанский государственный университет, Тбилисский медицинский институт, Санкт-Петербург

бургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, Московский институт стали и сплавов

Яростно водила смычком

скрипачка

блистательно играла роль освобождённой женщины Востока  
Вот!

Невеста для Мишика,

того, который, когда улыбается,

сулит белыми зубами и весёлыми карими глазами

райское блаженство понимания тебя

Солнце

и никогда ничего не сделает так,

как обещал.

Потому что мужчина!

Я научу её!

Он

её

научил!

Пусть у нас будет Верочка с косичками!

Пусть у нас будут: Нина, Кнара, Максим, Гриша, Лаура, Виола, Артемка, Валерик, Наташа, Танечка, Элла, Гала, Моника, Лиза, Гамлет, Маринка, Гаянэ, Карина, Коля, Асмик...

Вот в московской коммуналке жена инженера Михаила Гарегиновича Аветисяна!

Армянская женщина —

это такое изображение —

лубочная картинка Индии —

многорукая Вишну — Шива — Ануш

Уже не в ситцевых шароварах из-под платяца,

уже в прямых линиях строгой полотняной юбки

и плавного жакета

В самоучителе ереванского языка —

Анаит — красивая женщина,

Анаит — архитектор,

Анаит — ереванская красавица!

...горячим лоном под халатом белым стерильным...  
Скальпель! Тампон! Ланцет! Кульман! Смычок!  
Александрия!

Над операционным столом царит её острый глаз,  
мерно бьётся её холодное сердце,  
хищной птицей летит её верная рука  
жёсткой матери,  
которая спасает тебя во что бы то ни стало,  
даже вопреки твоему желанию дальше не жить  
Переставала быть  
стройной, красавицей с длинными  
баскетбольными ногами

Круглилась лицом, кругло толстела  
Посматривала с хитрецей, рассказывала анекдоты,  
давала взрослой Клеопатре бесполезные советы,  
как жить, и лекарские  
Прятала меж больших своих грудей  
на шнурке витом  
просверленную монетку с безбородым профилем  
Тиграна в тиаре

Вспоминала детство в Артаксатах,  
осанистого вельможного отца, мать в жёлтом покрывале,  
горячие пальцы матери, кормящие детский раскрытый рот  
влажными сладкими виноградинами  
кисловатый вкус золотых колец, коснувшихся  
девочкиного нёба,

помнила римских воинов, ломающих город  
Артаксаты — Карфаген Закавказья.

Она учила маленькую Клеопатру играть в нарды.

Она,

рассевшись на венском стуле,  
прихлопывала пухлыми ладонями славной няньки-стряпухи,  
учила маленькую Клеопатру танцевать на чисто вымытых  
половицах  
пляски страны Хайастан

под зурну патефона  
чёрного блестящего круга пластинки  
На щёчке родинка, а в глазах любовь

Андрей Бабаев

Когда Клеопатра

ещё не трахалась до посинения с Герой Харитоновой,  
не посылала статьи на сайт «Лесбос»,  
не строила заговоры против римлян,  
всех в кружок, собрав

и прихлёбывая пиво ячменное из расписной глиняной кружки  
в очередь с Потиним Давыдовым,  
и не издавала журнал «Фарос» вместе

с Аполлодором Кузьминым,  
и не соревновалась в длине свободных стихов

с Таидой Гаврилиной,  
а была маленькой девочкой,  
прибегала из дидаскалиона в старинных китайских кедах  
после урока физкультуры,  
с пятёркой по ритмике, с пятёркой по чистописанию

папирусов, с пятёркой по Геродоту,

и, летая чёрными косичками, кричала детским голосом:

— Вагановна! Приготовь что-нибудь вкусное!

— Вагановна! — приказывает взрослая Клеопатра,

ласково блестя изумрудными глазами, —

Завтра мы едем на пикник в Марса-Матрух

я, Потин, Планго, Аполлодор, Полина, Андриск,

Таида, Билитис, Марк

Приготовь нам с собой:

кутап, толму, кололак, борак, айлазан, мшош, назук и кяту.

Я так не хотела, чтобы она выходила замуж

за этого Марка Антония!

А что я могла сделать!

Я прихожу, а уже свадьба,

уже флейтистки толкутся, уже гименей поют!

А я так не хотела!

Октавиан Август, сентябрь, декабрь, январь, Март Елагин,  
зайчёныш Эдгар

Нет, нет, совсем-совсем не о том!

Не о том, а Клеопатра, убитая, разорванная,  
брошенная на камни двора с балкона  
Только верная Гера Харитоновна и старая Вагановна  
— Вагановна! — спросил Октавиан Февраль,

потому что сразу холодно-холодно  
стало в горячем венецианском Египте,  
на Пере в Баку и в Армянском переулке

Московского Тифлиса,

и в большом Авлабаре Парижа,  
во всей нашей Александрии! —

Почему она умерла?

Я хотел, чтобы она прошла в моём триумфе!  
— Этого не будет, — сухо сказала горько.

Прикрыла останки убитой царицы и мёртвое тело верной Геры  
своим головным платком жёлтым шёлковым,  
обнажила гладко причёсанную голову с пучком седым,  
удержалась на опухших старческих ногах  
и убила себя кинжалом

В средневековом отдалении всех друг от друга  
медленно кружит пепел кремированной тебя  
над Баку, Александрией, Венецией

Но ещё ведь не вечер,

не утро, не ночь, не полдень, не подвиг, не подвал,

не заря, ничего, никому, никуда

И придёт всё равно Ренессанс-Возрождение!

Потому что так надо!



*Подарок моему отцу,  
или  
Очень хорошая Клеопатра*

И звенят и гремят...

*Перевод Я.Э.Голосовкера*

Это  
стихотворение  
посвящается  
моему отцу,  
который  
однажды  
спросил:  
«А почему  
нельзя  
говорить  
“слёзы текутся”?»

И засмеялся  
Отец —  
— А что ты читаешь, девочка?  
А я —  
— Я читаю пьесу Шекспира, трагедию,  
она называется:  
«Антоний и Клеопатра».

А он —  
— А как ты всех запоминаешь в пьесах?

А я —  
— Сама не знаю, запоминаю.

А он —  
— Клеопатра Клеопатра  
хорошая Клеопатра хорошая!

Он улыбается.

Клеопатра

она

Она здесь выросла.

Здесь в дидаскалион бежалась узкой улицей —

глухие стенки —

взмахнув косичкой —

много —

тоненькие чёрные —

к шероховатости побелки.

И в лавке у Амета халваджии —

на два парá и на марьяш —

льнаной халвы —

такими тоненькими смуглыми руками,

такими липкими ладошками

и липким ртом.

А мастер Мánё куюмджия как смеялся!

Гречанки торговали у него большие ожерелья,

египтянки — браслеты — золотые змейки.

Она

вприпрыжку выбежав из дидаскалиона

садилась вдруг на камень придорожный,

на один валун.

А камень был хороший,

очень тёплый.

Она пристраивала на коленях липких и горячих

вощёную дощечку для письма,

чтоб записать стихи,

которые внезапно непонятно сочинились...

Моя черепашка!

Где жёлтые тыквы

немножко танцуют на окнах,

Туда приходя,

оставляешь высокий порог

Чтоб тёплым коричневым духом в прозрачных

ликующих смоквах

Любой наслаждаться и переслаждаться бы мог!..

Оттуда,

где сомкнулись пирамиды на песках  
в какой-то отдалённый кряж,

Мы все придём на улицы Александрии,  
где прохожие приветственно друг дружке говорят —  
— балканским языком —  
«Приютен пляж»...

Приютен пляж

Коньки морские весело тусуются-клубятся  
в зеленоватой удивительной морской воде,  
такой одновременно мутной и прозрачной.

И ловят рыбаки легчайшей сетью  
легчайших маленьких и плоских камбал...

Уже ладони расправляя пальцы в море сполоснув  
она бежит в библиотеку золотой Александрии,  
к хранителю больному,  
к дяде Косте,  
страдающему сумраком чахотки  
меж свитков дорогих и драгоценных  
полезный продолжается урок

Шумит Родос, не спит Александрия

В книговращалищах летят слова

Уже большие девочки

она и младшая сестричка Арсиноя,  
которую потом в Эфесе задушили,  
увешанные золотом звенящим  
на гладких и немножко липких шейках,  
на мочках,

чуть уже оттянутых,  
на кругловатых выступах ключичек,  
звенящим золотом  
поверх коричневого,

золото-коричневого  
шёлка-бомбицина платьев  
звенели золотой своей укорасой

Смеялись  
бегались, как маленькие дети,  
и прыгались размах на гепастаду  
на молодые каменные плиты  
сандалиями звонкими стучали золотыми  
тукались подошвами  
Взлетались  
навстречу времени летучему, как рыба...  
На палубе ладьи  
под парусом прохладным  
Гай Юлий Лазарь ей рассказывал о Риме:  
Рим — это круг. Круговорот  
Людей, домов, времён, поверий,  
Где, как обойма в револьвере,  
Вращается за родом род...  
Вращается...  
Как было весело  
стать взрослой и царицей!  
Как было весело...  
Весёлая компания творилась  
Весёлый собирался тарарам.  
Планго весёлая кружилась тут и там  
И, шумная, немножко материлась...  
Деметрий шёл,  
серьёзный молодой банкир,  
Стареющий Кавафис,  
тоже Константин...  
Аполлодор,  
в красивом новом ожерелье,  
входил,  
размашистыми кудрями летя,  
читал элегию,  
кругом него разнообразные дитя  
всё время непрестанно танцевались,  
мальчишескими шеями вертя...

С утра болят все мышцы,  
особенно плечи, предплечья, икры,  
Вчера в одиночку  
весь день  
прилаживал в триклиниуме большое зеркало,  
серебряное,  
в которое гляделся тысячу лет назад  
Харакс,  
возлюбленный Архилоха

Прекрасная элегия

устрицы дюжинами  
и морских ежей, и фалернского вина...  
И поднималась чуточку величественно,  
и улыбалась быстро и легко  
улыбкой древнегреческой летящей,  
такую неизбывной и открытой...  
читала и своё стихотворение:

Вот ласточка,

она летит куда-то

Она куда-нибудь вдруг прилетит.

Её моя живая кошка Бази

поймать захочет,

А она летит;

то есть не кошка,

ласточка летит...

Ещё фалернского кувшин побольше!..

Их было много у неё —

Серёжа Тимофеев,

Андрюха Щербаков,

Критон, молодой глупец...

Прислали их сопровождать поставки

ракет и самолётов,

а они остались.

Нарушили приказ Октавиана,

не вернулись в Рим.

Наёмники,  
    смешливые кутилы,  
    откинута сильная рука,  
    в рот выливающая банку пива...  
Их смуглые доверчивые лица,  
    немножечко медальные черты.  
Их твердогубые и сладостные рты.  
Их лица,  
    излучающие простодушную жестокость,  
    цинизм ребяческий и простенькую хитрость.  
Их заурядные жестокие дела,  
Традиционные опасностью доро́ги.  
Их головы обритые, их голые до пояса тела.  
Их камуфляжные штаны, их быстрые босые ноги...  
    Внезапное ребячье свирепенье  
    «Калашников» навскидку и «узи»  
И звучный там-тарам речистой брани,  
    ужасно жутковатой и зловещей...  
Серёжа Тимофеев —  
    кличка «Марк Антоний» —  
сказал ей:  
    ... ты красавица, интеллектуалка,  
    тебе не жалко, что жизнь проходит караваном,  
    а смерть огромным ятаганом  
    спешит с песком и вихрем вместе  
    смешать последнюю постель  
    зарыть, закрыть в историю, как в шкаф,  
    нас всех?..  
Стоят, как мёд, арабские слова...  
Она ему сказала: «Тимофеев,  
    немножечко такой кудрявый Тимофеев...»  
Она ему сказала: «Тимофеев...  
    Оставь меня, мне ничего не надо!..»  
Он тоже часто говорил ей: «Тоня! —  
    Клеопатра Антонина Филопатра —

какая ты холодная такая!..»

— Да, я холодная, как будто нильский лотос,  
как будто длинная египетская рыба...

И посмотрела чёрными глазами,  
и повернула гладкое лицо гречанки,  
и руки развела, и вскинула вперёд ладони,  
и голову с пробором в чёрных волосах  
склонила, подняла,  
и прямо посмотрела, улыбаясь, —

— Но я горячая, как будто камень,  
Который трогают горячими руками...

Ещё, ещё фалернского вина!

Планго весёлая плясала на заре  
В блескучем разноцветном серебре  
Трясла проколотые маленькие мочки.  
Потом копали все поодиночке.  
И на колени встав из-под земли  
Мы вынимали это как могли...

В руках держать в ладонях маленькие тоненькие  
все закаменелые в земной сухой грязи  
одни такие тонкие серебряные...

Ах!

Андрей Аристович, не привози большую мебель,  
конфеты, акции  
и ящики с товаром;  
а привози, пожалуйста, Гомера  
в прекрасном сумасшедшем переплёте,  
и маленькие — горсточка — железки,  
серебряные — золото — звеняшки,  
руками сделанные золотинки,  
браслеты, серьги, пряжечки, пластинки...

У! Столько лет прошло...

Аполлодор в могиле.

Аполлодора призрак, прилети!

Плангонин череп, одевайся юной плотью.

Планго, взмахни смеющимся подолом...

Приветствуйте царицу Клеопатру!

Приветствуйте её в Александрии!

Здесь удалыми женскими ногами

Она одна вошла на царский путь.

Здесь золото и дорогие камни

Одели жирную тугую грудь.

Вошла одна суровая мораль

И принесла отчаянье и голод.

Она вошла, она сказала: «Город!

Тебя мне жаль. И мне тебя не жаль...»

Восток ликует яхонтовый — золото — любовь...

Сейчас для вас в моём театре

Пройдёт кино о Клеопатре.

Оно пройдёт куда-то вдаль,

Сверкая мощными шелками.

И золотыми уголками

Расставится в груди печаль

И радость,

потому что мы

Умеем танцевать не хуже,

И ночью тосковать о муже,

И пировать среди чумы!..

Она сегодня опустила край молитвенной повязки белой

на лоб, на брови,

и она творит последний свой отчаянный намаз...

Войска, войска...

естественно, тоска...

Она была тиранка и поганка.

И потому —

уже почти необозрим —

Ей на вершине молодого танка

Привозит злую справедливость Рим!..

Рим приказал рифмованно и чётко,

чтобы она собою не была!



Но как же ей совсем не быть собою?!.  
Она стоит, как разукрашенная ёлка,  
разубранная тонкими шарами;  
но почему-то яркий летний день,  
и никакой зимы уже не будет!  
А только яркий летний-летний день,  
когда уже тоскливо пахнет гарью,  
когда горячий дым летит к обрыву,  
последний воздух набухает в грудь,  
и хочется скорее умереть,  
пока ещё возможно умереть свободной...

И вот уже от плача плечи жирные дрожат.  
И ноздри, всхлипывая, дышат едкой пылью.  
Она в гробнице спряталась.

И римские солдаты сторожат  
Высокий склеп,  
чтобы александрийцы не убили  
свою царицу бывшую...

Уже втоптали в пыль её портреты  
Уже разбили статуи...

Тебе —

моя любовь — моя Александрия  
мой брат Египет — погребальный воздух  
многооконных башен и садов...

А вы сказали: «Марк Антоний». Это кто?

Конечно, я прощусь. Конечно, попрощаюсь.

В живот оно смертельное ранение.

Конечно, я скажу ему любимые слова,  
конечно, все слова, какие следует проговорить,  
Я все слова проговорю такие...

Или нет?..

Зачем ты мне, обрюзгший Тимофеев?

Не надо.

Видеть не хочу.

Губитель кораблей.

Пылинка с мостовой из Брухиона,  
морские капельки на камнях гепастады —  
в сто тысяч раз дороже мне, чем ты,  
чем тысячи таких, как ты...

Она

влезает, задыхаясь, по ступенькам вверх...  
Играют в кости римские солдаты далеко внизу,  
храня её небрежно от её людей.  
Она стояла на высокой кровле,  
слёзы  
теклись отчаянно из мокрых глаз...

А почему, зачем нельзя быть снова молодой  
в балканском городе,  
на греческой земле Александрии?!  
Зачем не может стать этот мир,  
богов красивых многих, статуй пёстрых  
с глазами из красивого стекла?!  
Зачем не может стать этот мир,  
где все танцуют на огромной свадьбе  
гетайров Александра с жёнами Востока?!...

Внизу горит её библиотека,  
внизу кричит её Александрия,  
упавшая в пыли навстречу Риму...  
Внизу волнуется такое море...  
оно как будто снова Понт Эвксинский!

И снова можно вместе с Александром  
пуститьсь завоёвывать Китай,  
а может, Индию,  
и прочее ещё,  
пусть боги знают, что ещё возможно  
завоевать  
оружьем и людьми...

Великий адмирал Неарх кладёт ладони  
на рулевое колесо,  
и чёрные глаза

глядят улыбкой взора из-под краба золотого на фуражке белой...

Где Цезарь? Он не должен умирать.

Ещё вчера он говорил...

А что

он говорил?..

Так хочется не уходить!

Остаться, статья, быт, битва!

Не умереть, не умирать!..

Так хочется совсем не уходить!

Так хочется всё время статья, быт!..

Я знаю, верные мои рабыни,

старушка-няня, иудейка Ирас

такая деликатная,

и Гера,

дикарка страстная с одной серьгой в ухе,

себя девичества лишившая горячим пальцем,

пленённая в гиперборейских страшных землях,

красивая в своей звериной шкуре,

с ножом на поясе холстинкового платья,

они — мои родные!

И они безмолвно соберут

всё то, что от меня оставят люди

моей Александрии!

А потом обмоют и оденут

заботно

в погребальной камере,

вон там...

Пусть город подползает, как змея, ко мне!..

Извилистые улицы глухие

Змеятся распалёнными людьми.

Убей меня, моя Александрия!

Иди ко мне. И жизнь мою возьми...

Спектакль закончен смертью.

Ложи блещут.

Партер и кресла — всё уже кипит.

В райке нетерпеливо плещут Саша, Костя, Миша, Ваня,  
на деревянные сиденья взобрались ногами,  
обутыми в красивые ботинки;  
стоят и аплодируют в ладони...

А публика показывает пальцем,  
с ужасным воплем:

— Посмотрите, это автор! Вот уродка!

Такая у неё ужасная походка!..

Совсем и нет! Я очень хороша!

Я очень хороша,

как всё, что вечно,

хотя в определенном смысле — ой! — кромешно,

хотя отчаянно придумано, конечно,

хотя немножечко ужасно бессердечно...

Но так беспечно!

Так красиво,

радостно

и человечно —

Легенда,

Живопись,

Тоска,

Душа...

# **Тривиальная песня о государстве**

## *Тривиальная песня о государстве*

Государство государство  
    маленькое государство  
    княжество такое что ли  
Сиротиночка *росло*  
    государство Ксеньюшка.  
Мама у государства была Золотая Орда —  
    монголка-татарка — кремень —  
    гоняла дальнобойные грузовики  
    от Бодайбо и ещё куда-то  
А папы у государства не было  
Учёные спорили  
Говорили, что он когда был, то был финн  
    или швед  
    или даже украинец северный,  
    из Канады, наверное,  
или даже говорили, что хазарский тюркский еврей  
    но это, конечно, сплетня,  
    хотя, возможно, и правда.  
Государство Машутка *бегало* босенькое,  
    совсем Достоевское  
Мама Золотая Орда больно шлёпала по заднюшке  
Маленькое государство *крутилось* в трущобном дворе  
    на задворках истории  
    где блошинные рынки, свалки и сараи с дерьмом  
*Оно* толкалось в подворотнях  
    со всякими там улусами,  
    ханствами недопуканными  
    и герцогствами бандитскими  
    бегало на ихние дискотеки хулиганские  
    старомодные  
    нюхало клей из полиэтиленового пакета,  
    кидалось камешками в чужие стекольные окна,  
    пíсало в тёмных подъездах

и писало на грязных стенках слова на разные буквы  
И вдруг, вдруг

что-то теснило, волновало детскую грудку,  
цыплячью ещё,

и бежало государство на большую дорогу  
наперерез летящим в ниссан-террановых порше  
сильным и очень культурным государствам  
и кричало,

срывая детский голосок на ветру сквозном:

— Я тоже, тоже государство! Давайте я к вам послов пришлю...

Но никто не останавливался

а только иногда кинут орешек в золотой бумажке.

А всякие там улусы, недопуканные ханства и бандитские  
малолетние герцогства  
и графства разбойничьи самопровозглашенные  
гогочут

спрашивают:

— Что, получило?

А мама Золотая Орда больно отшлёпает и прикрикнет:

— Я твоя единственная союзница!...

И вот однажды вечером,

когда один диккенсовский дождь  
лил как из ведра,

государство влетело стремглав,  
отбросив швейцара Мишу куда-то совсем,  
влетело государство Матрёша  
в большой интерклуб сильных государств  
и оно закричало сильно:

— Люди! Я маманьку замочило...

И все вдруг заволновались,

переспрашивают друг у дружки,  
окружили государство Дуняшу

париками белыми мучными  
рукавами обшлагами

Тут вопросы раздались:

— Pourquoi?

— Was ist das?

— What?

— Che?

Что случилось? Почему?

И герр Хайнрих-Иоганн сразу Андреем Ивановичем стал.

Он и тётя Катя выкупали государство в большом корыте  
оцинкованном

Государство Таня затынулось в джинсы  
и рубашку на животе закрутило узелком

И в зеркале увидело свои мягко очерченные скулы  
и глаза  
и волосы

и губы розовые и ужасно нежные

И оно растерянно улыбнулось белыми зубами  
и походкой длинными ногами от бедра крутого  
вдруг пришло ко всем

И все спросили:

— Это чья такое государство?

И Андрей Иванович и тётя Катя ответили:

— Наше!..

Длинною ногою от бедра крутого

Ольга государство шло вперёд.

Подрастало государство, хорошело день ото дня

И Андрей Иванович и тётя Катя не могли на него нарадоваться

У какое тигуськин-пуськин государство!

Государство тусовалось вальс полькировало шампанское

И все с ним считались.

Государство просыпалось утром в полдень,

выпивало чашку чёрного какао с белыми сливками,

опрокидывало рюмку чая прямо в розовые губы, в рот,

и съедало стакан молока

А тут и все мобильники звонили

И государство волосы русые густой волной за плечи забрасывало

И сигарету за сигаретой



И — во все мобильные телефоны:

— ...Да... Нет...

...Да... Нет...

А бретелька шёлковая тугая лифчика «вандербра»

спустилась с её прелестного плеча

— Государство Наташа! — кричала из комнаты тётя Катя. —  
де Кюстин прислал эсэмэску!

— Я не могу! — кричало из кухни государство

Мариночка Николавна. —

Пусть Андрей Иванович с ним разберётся... —

и одною рукой *оно* ело куриный сэндвич,

а другою рукой — быстро-быстро —

мюслевую кашу...

И *оно* кричало:

— У меня сегодня переговоры с Фордом!

Будем строить конвейер для пушечного полёта на луну...

Государство прибежало в комнату, смеялось,

обнимало тётю Катю и говорило:

— Тётя Катенька! Давай заключим договор о дружбе...

И тётя Катя бросала вниз косметичку,

а государство ловило сумочку на лету

и летело по лестнице мимо лифта

и уезжало вдаль на какой-то мерседесовой тойоте

И тётя Катя кричала,

свешиваясь с пентхауса:

— Киндхен! Ты каждый раз прощаешься навек,

когда уходишь на миг...

Не уходи...

Уходи...

Не уходи...

Государство выебало по-всякому всех,

бросаясь наугад,

и сидит косящатое

брови соболю накупив

Настенька ты наше горяща

За окном запели взрывы бомб и встали ежи противотанковые  
Началась война  
Государство *пришло* тоненькое, затянутое  
в простую серую шинель  
— На меня напали, — *сказало* государство Галя, —  
я уйду на фронт добровольцем  
И тётя Катя заплакала горько  
И Андрей Иванович уехал в далёкую гиперборейскую  
эвакуацию —  
разрабатывать новое оружие  
И государство *выиграло* войну  
Государство ты наше Александр Михайлович, Серёжка Витька  
Государство — прямая юбка тёмно-синяя бостоновая  
блузка белая топорщится жабо в треугольном вырезе  
тёмно-синего жакета  
переступает скромными каблуками вишнёвых туфель  
лаковых — капроновые чулки —  
улыбка — волосы русые шиньоном на маковку  
приподняты  
государство — Анна Васильевна —  
ромбиком значок университетский —  
— ...thank you... of course... yes...  
Но больше всего Андрей Иванович любил  
тихие ночные вечера,  
когда государство *оборачивалось* к нему от компьютера,  
благоухающее духами «Мандарина дак»  
и пальмово-розовым мылом,  
и *сияло* мягко большими глазами и  
длинными-длинными волосами в мягком свете  
специальной лампы,  
и он в кресле в пижаме опускал на колени газету  
и государство Ирина *говорило*:  
— Андрей Иванович, я новое стихотворение *написало*...  
И *оно читало*:  
— Как радостна весна в апреле,

Как нам пленительна она!  
В начале будущей недели  
Пойдём сниматься к Буасона́.

Предстану я потомкам соловьём,  
Слегка разложенным, слегка окаменелым,  
Полускульптурой дерева и сна.

Залились невидимые жаворонки  
над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьём,  
заплакали чибисы  
над налившимися бурою неубравшеюся водой  
низами и болотами,

и высоко полетели с весенним гоготаньем журавли и гуси.  
Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь?

Патрульщик, патрульщик, вон едут они,  
Долорес Гейз и мужчина.

Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони,  
Вылезай, заходи за машину!

И государство сияло глазами

И Андрей Иванович тихо произносил:

— Wunderbar!

Государство положило на всех небоскрёбный дом Пашкова  
и виллу «Трианон» где-то на побережье Ниццы  
и гуляет

государство Анна... Анна... Костя Пётр Максим

Государство стало похоже на все такие старые государства  
оно ругалось матом и топало ногами в драных носках

Государство ты наше Палыч Степановна

— Какая она глупая,

эта империя зла! —

говорили-повторяли разные другие государства,  
которые вчера ещё —

ну конечно! —

говорили совсем не так

Зато теперь они говорили-повторяли о себе:

— А мы вот напротив —

умные и добрые!

Так повторяли-говорили.

Эх!

Государство толстое Петровнушка

толсто-краснолицее

заплывшее глазами

Государство лежало мёртвое

и медленно превращалось

из отвратного мёртвого крошки Цахеса

в красивого мёртвого Циннобера

Андрей Иванович и тётя Катя

приблизились поочерёдно

и поцеловали государство в мёртвые уста

Никогда ещё они от него не плакали так страшно!

Плакали Андрей Иванович и тётя Катя

они уезжали в берлинский Мюнхен

в новозеландский Тель-Авив какой-то —

жить на пособие для эмигрантов

Они потеряли всё на свете.

Плакал Андрей Иванович в самолёте,

закрывая отчаянно лицо старческими ладонями

А потом Андрей Иванович захватил этот самолёт,

облетел, как будто Чкалов, земной шар,

заставляя всех на этой поганой земле трястись

от страха-ужаса

и направил самолёт куда-то далеко в космос

— Так не доставайся ж ты никому! —

кричал он в бесконечное пространство

И перед глазами его,

то есть перед внутренним взором,

трепетало зрелище государства,

такого,

каким *оно* когда-то некогда

вбежало, влетело стремглав

в интерклуб сильных государств,

растрёпанное, босенькое,  
в грязном платишке,  
достоевское насквозь,  
на тонкой шейке византийский серебряный крестик  
болтается,  
а в кулачке замурзанном амулетик монгольский зажат,  
вбежало влетело закричало яркоглазое:  
— Люди! Я маманьку замочило!..  
И Андрей Иванович тогда сказал тёте Кате:  
— Катерль! Это будет великое государство!..  
и показал пальчиком...

## *Тривиальное стихотворение о пьесе*

Мы все Шекспиром заболели вдруг —  
как бешенство или другой такой недуг.  
Бросаемся мы друг на друга, пенимся у рта,  
кричим,  
и хрипота...

Шекспир —  
и есть Шекспир:  
он Марло, сын ремесленника, — и Бен Джонсон.  
А может быть, и нет, и он аристократ учёный Бэкон.  
Но нам, конечно, до обиды мало одного,  
того, единственного,  
мáлого чуднóго,  
провинциала славного живого...

Ему, конечно, нечего скрывать,  
жене он брóсовую завещал кровать,  
он все теории ниспровергает снова,  
он облысел и на печального похож портного...

Я тоже очень много выступала  
с одной научной версией.

Однажды  
на выставке портретов ярославских  
я видела один таинственный портрет,  
который Фейнберг-пушкинист определял как странный.  
Портрет был просто копия портретов  
известных графа Саутгемптона.

Молодой человек в костюме позднеелизаветинской эпохи  
сидит в елизаветинском кресле и держит на коленях  
чёрного громадного кота.

Русые волосы длинным жгутом перекинуты на грудь  
вышитого камзола,  
и видны кончики банта, завязанного на затылке.

Но лицо совершенно русское, хорошо знакомое мне,  
пёстрые прелестные и тёплые глаза...

Москва зимой,  
        в Немецкой слободе  
                        английское посольство квартирует.  
И, значит, вот,  
        у этого посольства  
        был секретарь посольства Уилл Хантинг..  
А впрочем, нет, не так, —  
                        Орландо Вульф..  
Орландо Вульф был другом Джона Тэрбервилла,  
        который тоже был в Московии и вот что написал:  
«Дебелая жена икона златоткана  
        Сидит набелена и на щеках румяна  
                алеют алыми кругами  
        чёрными зубами —  
                        она их по обычаю чернит —  
        грызёт орехи и миндаль заморский.  
В это время яростный супруг  
                        её мужик московский  
        юношу влечёт на лавку  
                        постельную,  
        на ложе наслаждений.  
Обильно кубками застолье, водкой и вином...»  
Джон Тэрбервилл имел в виду конкретность.  
Один парнишка крепостной, красивый мальчик,  
                подросток, юноша;  
        Андрей Иванович, конечно, —  
                да кто их, крепостных, по отчеству зовёт!..  
Андрей был крепостным боярина Григория Кружкова.  
        Кружков любил его.  
                        Кружков пытался  
        внушить Ивану Грозному идею  
                        реформ.  
Кружков был вынужден бежать.  
                Кружков бежал в Архангельск и уплыл  
        на корабле,

поскольку подарил

Андрея своего

Орландо Вульффу.

## Орландо Вульф устроил сей побег

на корабле английском.

## Но в пути

Андрей почувствовал себя свободным,

и за любовь свою,

которую Кружков

бесстыдно предал,

отомстил Андрей;

боярина Кружкова заколол кинжалом.

Портрет Андрея, писанный английским анонимом,

однажды в ярославский передал музей

Сергей,

потомок реформатора Кружкова.

Кружков нимало не любил жену,

поэтому имел детей.

Андрей изображён

в одежде аглицкой,

с котом своим любимым

по кличке Чй́ка.

Писан был портрет

по указанию Орландо Вульфа.

Орландо безответно был влюблён

в красавца Саутгемптона,

которого Андрей

напоминал ему безумно...

## Что же было дальше?

## Туманный Лондон, где Орландо Вульф

однажды снова графа Саутгемптона встречает.

Один безумный треугольник страсти,

когда Орландо снова любит графа,

когда Андрей, успевший полюбить

# Орландо Вульфа,



вдруг осознаёт,  
что тот его уже совсем не любит,  
когда красавец Саутгемптон увидал Андрея и полюбил  
безумной бешеной любовью,  
когда Андрей взаимностью ему ответил,  
когда отчаявшийся Вульф пытался Саутгемптона убить,  
но был Андреем горделивым умерщвлён...  
И вот карета мчит в далёкий Стрэтфорд,  
где Саутгемптон делает Андрея  
Шекспиром  
по фальшивым документам.  
Граф не хотел огласке предавать  
убийство Вульфа русским эмигрантом.  
Жил в Стрэтфорде некий Шáкспер Джон,  
Имел сын Вильяма беспутного он,  
Который браконьером был,  
олений в лесах беззаконно стрелял,  
в наёмные солдаты подался,  
в поход пошёл  
и в чужих краях пропал.  
И вот Андрей становится Шекспиром,  
как будто возвратившимся.  
Теперь  
вам все понятны странности Шекспира  
и безразличие Андрея к Анне Хэтуэй  
и детям Шакспера.  
Андрей читает книги,  
он изучает восемь европейских языков,  
не исключая греческой латыни.  
Он с жадностью, присущей москвиту,  
всю Англию орлино познаёт —  
от королевского дворца до скотобойни.  
Его желает видеть сам король,  
о нём толкуют в университетах,  
он славится...

Он изменяет Саутгемптону

с известным мальчиком Уилли Хьюзом,  
которому сонеты посвящает.

В сонетном этом цикле аллегорий

Андрей нам говорит, как рвётся сердце,  
на части разрываясь от любви.

Он любит юношу, он человек.

Но также любит и народ свой богоносный,  
аллегорически его изображая в лице  
ветхозаветной, противоречивой  
смуглянки страстной.

Как это по-русски!

Сонетный цикл Шекспира —  
«Песнь песней»  
английская

на русский православный лад...

Граф Саутгемптон не простил измены,

и по его приказу поджигают театр «Глобус».

Кончено.

Больной,

измученный и сломленный Андрей,

Шекспир подложный,

воротиться принуждён

к чужой семье постылой

в дальний Стрэтфорд,

где скоро умирает...

Как писал он!

Как он писал!

Не верите?

Читайте!

Его внезапное охватывало чувство

трагической гордыни,

гордости за общность,

которой от рожденья он принадлежал;

безбрежно русским ощущал себя,

и в эти сладкие —  
естественно —  
часы  
такое, например, писал...

Не верите?

Читайте!

В черновиках назвал он эту пьесу  
«Крутой маршрут навстречу зимней сказке».

Читайте!

К сожалению, не помню,  
чей перевод,  
но точный перевод!

«ГЕРМИОНА. Напрасно вы грозите, государь,  
Вы смертью запугать меня хотите,  
Но смерть — освобождение от жизни,  
А жизнь мученьем стала для меня.  
Её венец и радость — ваши чувства —  
Я потеряла,  
а за что — не знаю.

Вторая радость — сын мой,  
От меня он вами ограждён, как от проказы.  
И третья радость — мой второй ребёнок,  
Рождённый под злосчастною звездой,  
Оторван от груди и предан смерти.  
Бесправная, покрытая позором,  
Я после родов лишена покоя,  
Доступного для женщин всех сословий.  
Меня к вам привели ещё больную,  
по холоду,  
Скажите, государь,  
могу ли я какой-нибудь отрады  
от жизни ждать?

И чем страшна мне смерть?  
Но честь я защищаю.  
Если вы,

лишь подозрениям смутным доверяясь,  
Меня признали без улик виновной,  
То это произвол, не правосудье...  
Моим отцом был русский царь.  
Когда б он жил ещё и видел суд над дочерью любимой,  
Он взором сострадания, но не мести измерил бы  
всю горечь мук моих...»

Цитата здесь кончается.

Читайте!

Андрей Иванович, любимый человек

боярина Григория Кружкова,  
Шекспир Иванович еврей Андреев-Шульман,  
друг Саутгемптона и Джона Флорио,  
отец патриотизма рус

КОГО?

родного

Русского родного...

Это стихотворение —

на самом деле оно —

роман...

Разве у еврея нет рук?

Разве у еврея нет глаз?

Разве у еврея нет ушей, и усов,

и других разнообразных органов,

удов то есть печатных органов... а?

Если нас, разве мы — не?..

Перевод Щепкиной-Куперник...

Проехал Жидовин-богатырь...

Это стихотворение —

на самом деле оно —

кино!

Андрей Иванович, я Вам пишу.

Не потому что не умею говорить,

А потому что я люблю писать.

Поэтому я Вам пишу.

А Вы подумали, я не умею говорить?  
Нет, я умею говорить, но я люблю писать!  
И потому я Вам пишу.

Это стихотворение —  
на самом деле оно —  
поэма.

И Андрей Гаврилин мне сказал однажды:  
«Полоний — ведь это не имя,  
Полоний — ведь это поляк».

Да, это так.

Такой-то Полоний,  
или Максим Грек, например; или Феофан Грек...  
И не дадим погаснуть интересу.

И правда, три этнонима на пьесу.  
Три карты, кинутые на игорный стол, —  
Polonius, the Polack, the Pole...

Всё это правда исторически.

Полоний —  
поляк,  
такой же, как Андрей Гаврилин,  
и ещё один мне милый гамлетист,  
Валентин Станиславович Герман.

Мне нравятся очень обои,  
когда вдоль пёстрой стенки высятся вдвоём они.

Поляк на четверть и поляк наполовину.

И если я люблю, то не остыну

Все ночи стихотворные и дни.

О Польше не страдали,

не клялись в трагической любви,  
не рифмовали «Польше» — «больше»  
никогда;

поскольку сами  
поляками являлись перед нами  
гордой посадкой голов навскидку  
и породистыми крупными носами

Так выбегите, кувыркаясь;

и руки —  
приветственно —  
весело —  
кверху —  
поцелуями в две стороны —  
вверх —  
на ковре.

Теперь вы все актёры!

Играйте и танцуйте пойте мне.

Пусть выбегут на сцену вместе с вами настоящие актёры,  
узнаваемые прежние светила.

Большой экран раскинул плоское и нежное объятие пестроты,  
как только в зале свет померк.

Моё любимое кино, кино, кино!

Сундук свободы я открыла.

Я начинаю фильм снимать, кричу весёлые слова:

«Мотор! Салют! Бродячий фейерверк!»

Это стихотворение —

на самом деле оно —

роман,

и на самом деле оно —

кино!

Сценарий — мой.

Режиссёр — я.

Оператор — я.

В главных ролях —

Гамлет — Андрей Гаврилин.

Полоний — Валентин Герман.

Офелия — Маргарита Евсеева.

Гертруда — Галина Мироненко.

Лаэрт — Дмитрий Веденяпин.

Гамлет Старший — Константин Симонов.

Клавдий — Борис Бабочкин.

Йорик — Василий Шукшин.

Горацио — Джон Хай.

Итак, мы начинаем.

И Валентина Станиславовича Полония  
сейчас

Я собираюсь  
не очень длинно  
повторить рассказ.

Он мне рассказывал,  
когда в столице зимней белой  
по улице почти ночной  
вдвоём среди снегов-сугробов  
мимо слабых фонарей,  
он мне рассказывал с изящным увлечением,  
что

Действие всегда начинается задолго до начала пьесы.

«... Король,  
Чей образ только что предстал пред нами,  
Как вам известно, вызван был на бой  
Властителем норвежцев Фортинбрасом.  
В бою осилил храбрый Гамлет наш,  
Таким и слывший в просвещённом мире.  
Противник пал. Имелся договор,  
Скреплённый с соблюдением правил чести,  
Что вместе с жизнью должен Фортинбрас  
Оставить победителю и земли,  
В обмен на что и с нашей стороны  
Пошли в залог обширные владенья,  
И ими завладел бы Фортинбрас,  
Возьми он верх. По тем же основаниям  
Его земля по названной статье  
Вся Гамлету досталась. Дальше вот что.  
Его наследник, младший Фортинбрас,  
В избытке прирождённого задора  
Набрал по всей Норвегии отряд  
За хлеб готовых в бой головорезов.  
Формирований видимая цель,



Как это подтверждают донесенья, —  
Насильственно, с оружием в руках  
Отбить отцом утраченные земли.

Вот тут-то, полагаю, и лежит  
Важнейшая причина наших сборов,  
Источник беспокойства и предлог  
К растерянности и горячке в крае...»

Андрей Гаврилин мне сказал, что Гамлет Старший —  
средневековый сумрачный солдат...

«... И в тех же латах, как в бою с норвежцем,  
И так же хмур, как в незабвенный день,  
Когда при ссоре с выборными Польши  
Он из саней их вывалил на лёд...»

«А Клавдий — ренессансный дипломат», —  
сказал Андрей Гаврилин.

И по Герману выходит,  
что это правда.

Клавдий — нечто вроде  
Макиавелли.

Клавдий понимает,  
что юный Фортинбрас, пришедший к власти,  
может вызвать на поединок старика Гамлета Старшего  
и победит хотя бы вследствие своей молодости.

Клавдий тайно убивает прямодушного брата.

И теперь Фортинбрасу некого вызывать на поединок —  
убийца его отца мёртв!

Дипломатическими ухищрениями Клавдий направляет  
войска Фортинбраса на Польшу вместо Дании,  
оберегая Датское королевство от нашествия.

Клавдий берёт в жёны вдову брата,  
чтобы получить определённые права правления.

Наследником престола сохраняет Клавдий Гамлета-сына.

Клавдий страдает оттого, что вынужден был спасти Данию  
ценой братоубийства.

... Удушив смрад злодейства моего.

*На мне печать древнейшего проклятья:  
Убийство брата. Жаждою горю,  
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.  
Помилованья нет такой вине.  
Как человек с колеблющейся целью,  
Не знаю, что начать, и ничего  
Не делаю. Когда бы кровью брата  
Был весь покрыт я, разве и тогда  
Омыть не в силах небо эти руки?  
Что делала бы благость без злодейств?  
Кого б тогда прощало милосердье?  
Мы молимся, чтоб Бог нам не дал пасть  
Иль вызволил из глубины паденья.  
Отчаиваться рано. Выше взор!  
Я пал, чтоб встать...*

Из этого монолога явственно следует, что Клавдий  
одержим сомнениями и терзаниями как раз такими,  
какие позднее и назовут «гамлетовскими» (в кавычках).  
Гамлет же сомневается: сбыться или не сбыться мести за отца...  
И хорошо бы умереть, покончить с собой и не мстить...  
Но страшно —

что там ожидает после смерти...

Офелия, подосланная заботливым Полонием, чтобы вывести  
намерения принца,  
спасает Гамлета от возможного самоубийства  
своим внезапным появлением.

Гамлет и благодарен ей, и досадует, и понимает причину  
её появления...

И вот финал —

Гамлет обязан отомстить Клавдию за смерть отца,  
Лаэрт обязан отомстить Гамлету за смерть отца...  
Один лишь Фортинбрас не скован мстью,  
он свободен!

И не потому,  
что он осознанно,

путём тернистых размышлений,  
освободил себя от груза мести.  
Нет, просто враг его уже убит.  
И Фортинбрас поэтому свободен  
естественной свободой.  
Ведь Лаэрт и Гамлет  
могли бы —  
каждый —  
Данией владеть.  
Гамлет — как сын короля,  
и Лаэрт — вследствие знатного происхождения  
и выбора народного.  
Но их обоих тяготы мести убивают.  
Они друг друга убивают.  
И Фортинбрас по завещанью Гамлета наследует престол.  
Это стихотворение —  
на самом деле оно —  
роман.  
И тогда —  
краткие очерки характеров действующих лиц —  
Бедный Гамлет  
маленьким он любил играть в короля и петь песни  
Бедный Гамлет  
очень непонятно-ностальгически рисующий  
вечный свой город Европы  
романтический барочный и готический город Европы  
зыбкий хрупкий город Европы  
город прекрасный  
прочный как ёлочные игрушки из раскрашенной  
яичной скорлупы  
с чердака снесённые в пропылённой  
коробке картонной  
Город прекрасный  
город прекрасный и чистый  
Город, в котором

среди островерхих башен и окон двусветных  
живут и летают поэты, цветочницы, скульпторы

и компонисты

Бедный Гамлет.

И бедный Полоний

Марк Захаров не дал ему сыграть Дракона  
И это было очень грутально со стороны старого Марка

Бедный Полоний

которому не дали поставить «Гамлета»  
и «Вишнёвый сад»  
и «Маскарад»

Бедный Полоний

пишущий рукописную книгу о равенстве всех  
дворянских сословий

Герман — король Валентин Станиславович  
Ваше величество

Владислав Герман — король польский —  
тысяча семьдесят девятый — тысяча сто второй —  
и не цифрами, а буквами

Бедный Полоний

как заедешь из Кракова в глушь Саратова к тётке  
Васильевне Катерине  
так не выедешь больше никогда и никуда  
завертит закрутит —  
фиг вернёшься назад

Остаётся возделывать сад —  
саратовский парк «Липки»

Бедный Полоний Валентин Станиславович

Владислав де Стружек

Бедный Полоний

архетип инородца  
странник  
младший в своей династии  
возможно, изгнанник

Максим Грек

этакий Киприан  
Остерман Андрей Иванович  
О!

Он осторожен, ссориться ни с кем не хочет, знает суть жизни,  
то есть практику её  
ощущает лезвие...

Бедный Полоний

При двух стервозных датских королях,  
Старая и немножечко мудрая,  
Служил он в должности полезного еврея,  
Хотя он был по паспорту поляк.

Бедняга

Полоний смеётся глазами очками  
на площади Варны у моря молочный коктейль  
Полоний такой незадачливый канцлер

Полоний смеётся ласково и сияюще стёклышками очков  
Долговязый Полоний вспархивает полами старого серого  
макинтоша-плаща  
мило поблёскивает длинноносой улыбкой очков...

Бедный Полоний.

И бедный Лаэрт

с паспортом заграничным в новом кейсе  
И — сухо, сурово и отчуждённо —

Гамлету:

«Вы, кажется, пьяны. Вот платок, оботрите пот.

Я не говорю по-русски,

Я понимаю только английский и польский.

Сегодня Покров прописной завершён.

Я навсегда покидаю Андрея Константинопольского снега...»

Бедный Лаэрт в новой шляпе шведской стокгольмской.

И бедный Горацио

пьяный в короткой майке без рукавов  
голые мощные плечи  
стихи читаем подстрочник  
Послание по интернету: «Хай, гамми!»,

что в переводе на язык родной означает: «Привет  
Эпштейну!».

Бедный Горацио.

И бедная бедная Гертруда

в строгом костюме

отложной воротничок белейшей блузки

нежная плотность женской шеи

И строгим треугольничком значок об окончании с гербом

И гладко на пробор

и узел на затылке

И да здравствует!

И бутерброды с икрой

И выпьем!

А я весёлая, порхаю ласточкой.

А ветерок летит, весёлый ласковый...

Люблю, Клавдий, люблю...

Клавдий, это шампанское...

Клавдий, не надо!..

Пропадай всё пропадом!..

Люблю!

Клавдий, люблю!..

Бедная бедная Гертруда.

И бедный Клавдий

ренессансный правитель король весёлых пиров

герцог из оперы Верди

«Сердце красавицы»

король из младших арканов таро

масть его чаша

Франциск

а также канкан

«Смотри, как эти глазки

стреляют метко.

Мой друг, мне сразу видно,

она кокетка...»

И, повернувшись, поворотившись задом

и откинув сюртучные фалды,  
он припрыгивает...  
Бедный бедный Клавдий.  
И бедный Гамлет Старший  
Гамлет-отец  
бедный призрак  
воин средневековый  
в звании майора  
или это называется «в чине»?  
Бедный Гамлет Старший  
человек бесконечно неостроумный  
ругатель матом солдат, которым отец  
слуга самому себе президенту-полководцу  
который генералиссимус  
плащ-палатка внакидку  
на кольчугу потёртую боевую  
А для тебя, родная,  
Есть почта полевая  
На поленьях смола как слеза в огромном камине  
цельный вебрь жарится на вертеле  
Сидят и слушают слепого скальда бойцы-товарищи  
И поёт в моём сердце гармонь  
Про улыбку твою и глаза  
Бедный Гамлет Старший.  
И бедный Йорик  
простой деревенский парень  
из-под Чуйского тракта  
село Хренóво Карачарово  
Закончил в областном центре Бийска институт контролёров  
работал кинокритиком в клубе совхоза  
драмоделом соавтором помощником свиноводом  
В Хёльсингор приехал пешком  
лыжи острые за спиной  
с одним фибровым чемоданчиком на полочке  
в домотканом пиджаке довоенного сукна

как хаживали обыкновенно в Москву самородки...  
А как выскочит бывало в пиршественный зал  
как фальцетом голоснёт петушиным взвизгом:  
«Эх!  
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу...»  
Обхохочешься!  
И похабной скороговорочкой закончит:  
«А только летаю на воздушных шариках!»  
И руки в боки  
ёж-Москва!  
И пошёл, пошёл, пошёл!  
Ну, скоморох, ну, класс!  
Я пришёл дать вам блин!..  
И Гамлета маленького сопливого ещё  
он, бывало, на руки свои корявые неверные подхватит  
А глаза-то шалые  
тучки в них гуляют рваные лихие  
И перегаром бывало дохнёт —  
«Люби, принц, родину  
и её народ!  
Люби, принц, крепко-накрепко!  
Иначе оторву тебе  
сам знаешь где!  
Ты будь, Андрюха, будь!»...  
И ласково-грозно  
пальцем дрожащим негнущимся  
перед глазами дитяти поводит.  
И маленький Гамлет вприпрыжку бегом  
и кричит на мощёном дворе возбуждённый:  
«Да здравствует война и революция!»...  
Бедный Йорик  
строгий воспитатель  
когда он моется в сауне и ухает распаренный в сугроб  
маленькие Гамлет и Лаэрт подглядывают выскакивают  
и кричат высоко



по-детски:  
«Голый! Голый!»...  
за что Лаэрт и получает от Полония нагоняй...  
Бедный Йорик  
человек бесконечно жестокий  
В своих кривляньях шутовских топорно груб  
Но липкие от медовой коврижки детские Гамлета щёки  
Доверчивы к этой щетине толстой колючей  
вокруг жёстких губ...  
О Йорик бедный бедный!  
Это стихотворение —  
на самом деле оно —  
поэма,  
на самом деле оно —  
роман,  
и на самом деле оно —  
кино!  
И вот уже Офелия скользит на галерею,  
где длинноногий легконогий Гамлет  
в одном холстинковом белье в штанинах узких белых  
объятьем длинным кверху вскидывает руки  
ногами прыгая легко  
почти бесшумно  
как эльф ночной  
танцует полонез...  
Действие пьесы  
начинается задолго до начала этой пьесы...  
Костёл святого Климента в Саратове прабабушка Ядвига  
накинув на причёску кружева  
прелестных юных бабушек букетик —  
Марыся, Зося, Хеля, Александра  
«Эх, сокола и девицу заодно мне приручить...»  
Служанки прачки поют непристойные песни по-ютландски  
Девочка светлые волосы глаза большие  
сидит на каменном полу

прижавшись к стенке  
обтянув холстинковым длинным платищем коленки  
To-morrow is Saint Valentine's day,  
All in the morning betime,  
And I a maid at your window,  
To be your Valentine.  
Then up he rose, and donn'd his clothes,  
And dupp'd the chamber-door;  
Let in the maid, that out a maid  
Never departed more...

*«С рассвета Валентинов день —  
Я проберусь к дверям  
И у окна согласие дам  
Быть Валентиной вам.  
Он встал, оделся, отпер дверь,  
Но из его хором  
Вернулась девушка в свой дом  
Не девушкой потом...»*

Спал Гамлет маленький

по лестнице высоко винтовой  
один

И днём вбегал, случалось,

детским бегом

прерывистым сапожек топотаньем

В окно виднелось море далеко...

Слетал отцовский сокол на окно...

Вдруг ночью сполохи разгуливались кверху

под сводчатым тенистым потолком

по стенам из окна

Тенями пламенными гневно мальчику грозили

гудели громом шумом боевым

Гертруда прибежала трепетала свеча в руке в подсвечнике

железном

на сундук поставив у постели детской

целовала тёплыми губами в щёки

обнимала тёплыми руками  
«Спи, Андрюша!  
Не бойся,  
нет, не бойся;  
это просто наши  
солдаты;  
это просто вьётся тень,  
тень леса наших копий чёрных и блестящих...  
Не бойся, нет, не бойся,  
это просто  
Бирнамский лес идёт на Дунсинан  
войною...»

По занадворью замковому бег —  
перегонки —  
живыми башмачками...  
Где плиты отставали разошлись и землю видно было рыхлую  
улаживал свои секреты Гамлет  
свои такие маленькие тайны —  
секретики —  
игра —  
клочок сафьянной кожи крохотный потёртый  
и золотая нитка от придворного камзола,  
в зале сысканная детскими руками,  
и пуговица медная,  
и сверху лепестки  
цветов ручейных  
тех, что у ручья цветут-растут...  
И от смущенья покраснев,  
по-детски от смущенья щёки надувая.  
Офелии дарил...

There's fennel for you, and columbines: there's rue for you; and  
here's some for me: we may call it herbgrace o' Sundays: O, you  
must wear your rue with a difference. There's a daisy: I would give  
you some violets, but they withered all when my father died: they  
say he made a good end...

*«Вот вам укроп, вот водосбор. Вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Её можно также звать богородицыной травой. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но они все завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был лёгкий конец...»*

Это стихотворение —

на самом деле оно —

поэма.

Полоний объясняет: Гамлет обречён, потому что

отец Гамлета...

Отец?

Неужели?

Кто его отец?

История с началом без конца.

Несчастный Гамлет, он убил отца...

Трое саней

по трое коней

цугом гуськом

кони — распластанной крыльями птицей

Стефан Баторий, О.Генри, Саша Соколов красавец,

Зощенко Миня,

Полоний, Гертруда —

все однокурсники бывшие, ждавшие чуда,

Все гитаристы, актёры-любители

тонкая нить.

Физики продолжают продолжать шутить...

Кто-то подкрался коварный сзади

И только Полоний продолжал говорить

с этой как будто наивной страстностью

о Кушнере, о Чехове, о смерти, о «Вишнёвом саде»...

Полоний и Гертруда

зимний порт

фоном северный ветер серый

кружевом издали снасти

на полотне парусов

полётом стройные мачты  
Эву Демарчик с собой  
и ящик данцигской водки  
той золотой  
Гданьск  
в лондонском порту в моём одном романе...  
Полоний и Гертруда  
и Гертруда...  
На площади огромные часы  
Варшавскую мелодию играли.  
И повторяя вытанцовывая туры,  
И вдруг на цыпочках над вечером взлетая пролетая  
солнечного света лунной полосой,  
Покойным хороводом шли вокруг часов  
раскрашенные пёстрые фигуры.  
Последней выходила Смерть с косой.  
Варшавские часы играли музыку...  
Полоний и Гертруда  
И ночь, ночь, ночь, когда по автобану,  
Влёт выхлестнув коней в один замах,  
Они мчались в Томашув к Юлиану.  
И пела Надя Паустовская в санях.  
И мягко посверкивали юные нежно-красные щёки  
Высверками взблёстывали мягкие иголки соболиной шубы  
И на конях огромных —  
копыта в перестук —  
Черты теней больших лохматых тёмных шапок  
на белом жарком снеге высоки —  
Летели с факелами в лапах тёмных  
Летели пролетали гайдуки.  
Летела по бокам дороги зимней тишина полян.  
И перестук подкованных копыт летел  
вдоль этой белоты прозрачной сказки.  
На лицах юных разгоралась алость краски.  
Дышалось вольно: «Михаил!»

и пелось: «Юлиан!»...

Желание быть королём —

оно, возможно, и непростое желание.

Башни краковских замков

на солнце темнеют ясней.

И слегка затеняя солнце

остроконечной шапкой,

В город Абрам Запылённый

входит на семь дней,

Восходит по лестнице шаткой,

На трон восходит вотще,

Как есть — запылённый, босой,

С жёлтой звездой на плаще,

Плащ пронизан дождём и росой.

И его королём выбирают,

Он — птицеголовый еврей,

как в рукописи еврейской

четырнадцатого века

Смотрите один рисунок...

Эх, была не была!

Голова белой вороны,

птицы

у человека.

Но выборщики-поляки

думают, что орла!

И он орлом пролетает в клубах площадной пыли.

Он орлом пролетает, растрачивая пыл.

И через семь дней, конечно, его убили.

Но эти семь дней всё же

он королём был!

И желание быть королём —

это моё для тебя желание,

это я нахожу в Краковской энциклопедии твой герб

Но ведь желание быть королём —

это, возможно, и нежелание твоё

приколотить на дверь в десятом этаже  
свой родовой герб —  
скрещённые сабли и над щитом корона.  
Нет, пусть будет гербом сухой красивый и витой древесный  
лист,  
над притолокой прикреплённый,  
Жёлтый золотой,  
а был зелёный.  
Желание быть королём —  
это простое желание свободы,  
это простое нежелание быть здесь...  
Желание быть королевой —  
это опрометчивое желание.  
Ведь есть в королевстве замки,  
а в замках есть подземелья,  
а в подземельях — цепи...  
Но я — как Абрам Запылённый.  
И чудится нежно-солёной  
Впалая твоя щека,  
Чудится нежно-солёной,  
Если её тронуть,  
если её тронуть  
кончиком языка...  
Ты говоришь: «Мне так плохо без тебя. Ну, обними сильнеей!»  
И вкус нежно-солёный.  
И я, как Абрам Запылённый,  
я, как Абрам Запылённый,  
В город вхожу на семь дней!..  
Желание быть королевой —  
это простое желание быть здесь!..  
Гамлет сошёл с корабля.  
Месяц ушёл длиннорогий.  
Месяц растаял в небе,  
звёзд небесных пастух.  
Длинный и легконогий

Гамлет идёт по дороге

И говорит монологи

Громко трагически вслух.

Гамлет говорит:

«Мы сказали: счастье.

Да, конечно, есть.

Счастье, да, конечно, есть еда;

Конечно, есть...

Здесь, конечно же, сейчас...

Есть...

Вечер на равнине —

да,

ага, угу...

А что?..

Сияет ветер... А?..

Ветер сияет...

Темно...

В спальне матери за гобеленом сыро

Стены большие свеча деревянное ложе

А вы, чужие, зачем вы идёте на принцип?!

Вы, несогласные с болью нашей, с позором нашим,  
с этой нашей страшной судьбой!..

Оставьте нас!

Это наш вечный спор

варягов, датских принцев,

Между собой...

Кто вы, чужеземцы?

Вы убьёте самую суть этого нашего страшного мира;  
Стоит вам только начать!

Но нет, нет!

Против польского умника выпадом незаконным двинет  
моя рапира

И крикнет ему,

срывая в жестоком крике острое горло своё;  
крикнет ему,



крикнет:

«Молчать!»...

А я люблю, когда ветром рвёт равнину  
Я люблю сумасшедшую гибель тюрьмы  
Я люблю, когда распахивает рванину  
Моя Мария мужская нежная

головой чалмы...

Я люблю, когда

с капюшоном чёрным, на плечи откинутым

костяные,

Он, Смерть, приходит безносый

Не умирать зачем?

Войска живут и воюют,

а я задаю вопросы

А если я что-нибудь сделаю,

вам будет страшно всем...

Пьяные и молчащие...

меня в глаза!..

Голубка!

Моё ребро!..

Скользкая и серебряная...

Из одного кубка...

Пир —

винтовыми извивами

золото и серебро

вверх одною рукою всё...

Волосы...

В зубы — язык...

Солнце

проблеск блеск блик

И сразу —

я добрый

я мальчик

И на полу, на каменной гладке, у стенки

девочка —

обтянутые подолом длинного платья холстинкового  
коленки

Девушка —

чёрного платья классические растрёбы

Горьковатая сладость медовых сот...

Девушка устрица раковина

сладость медовые губы

Вспомню — и сразу встаёт!...

Девушка устрица раковина

Замкнутой девочки робость

горбинка тонкого носа

Детский дух летящих на тёплом ветру

тонких волос-колосков

И на тонкой шее внезапная жила

Лицо,

сдавленное впадинами висков

Упорство молчание сила...

Коричневый конь...

Лоснится коричневый конь,

мускулами гуляет, играет огнём.

И тогда в порыве

Маленькая лошадица —

кожаные штаны —

скачет на нём,

Припадая к широкой гриве...

Маленькая лошадица,

пешая,

кожаными сапожками — чуть вразвалку —

По ветру — синий плащ...

Маленькая лошадица

перегибая палку,

как разрывая хрящ...

Кончено, кончено, кончено...

Я припущусь бегом...

Войска Фортинбраса...

Пошёл!..

Стеснились на тесном пространстве

В этом редкостном постоянстве —

Polonius, the Polack, the Pole...

Острым хладом жёлёза мне в грудь упёрло.

Сердца вкус

горек.

Болью грубой и рвущей

разом схватило горло.

Бедный Йорик...

Башни громоздкие замка.

Пирьы, празднества и поминки.

Вопли дудок и труб,

вой мощной волынки.

Жалко!

Факелы смоляные, плеск живого огня...

Всё, конец! Не под силу.

Мне без неё нет жизни,

засыпьте могилу.

В землю кладите меня...

I loved Ophelia: forty thousand brothers...

Я ненавижу слово «держава»!

Кабак — и лицом об стол.

И на убийства, убийства, убийства

не надо мне права!

Polonius, the Polack, the Pole...»

Гамлет заканчивает говорить.

Небо рвёт порывистым ветром,

жёстко, жестоко снежным.

На равнине широкой-широкой

Смотрит прямо перед собой

Этим взглядом недобрым и нежным

Гамлет судьбой.

«Вы связаны», — Лазарь Вениаминович сказал;

то есть он сказал, что мы связаны;

ТО ЕСТЬ ВЫ — ЭТО МЫ.

И связаны

так отвратительно ясно и плоско и чисто,

Как частицы космической пыли;

Как собака с евреем, на которого её натравили;

и с польским паном — жидовка,

у которой он отнял монисто...

Лазарь Вениаминович сказал насмешливо...

И евреи птицеголовые германских земель,

когда...

Это Дора Брюдер

Чудо о Розе

о Розе, о девушке Розе,

о девушке

Здравствуйте, Гамлет Жан Жене...

А если кто и не знает,

может слушать звучание звуков,

когда...

Так страшно связаны!

Когда я на тебя смотрю,

Я вижу не луну, не солнце, не зарю;

Не день, не утро, не полдневный сад...

Я вижу,

нет, я чувствую,

что я обречена, должна,

как много лет назад,

Как много лет — не знаю почему —

К тебе идти,

как в горе, как в тюрьму...

Какходишь ты в знакомую корчму —

По лесенке,

ступеньками косыми шаткой;

Касаясь притолоки меховою шапкой...

Знакомый давний дух родного тела

уверенно восходит на крыльцо.

Восходит счастье мне, похожее на боль,  
как будто губы, склеенные жёлчью.

Восходит над моим лицом прелестное и волчье  
Недоброе и нежное лицо.

Я обнимаю чувствами огромный дышащий и движущийся шар  
понятия «Беда».

Пытаюсь быть,  
и быть внезапно терпеливой.

Давно когда-то я была с тобой всегда  
В прекрасных упущениях счастливой.  
Идут цветами тяжкими,

восходят —

лилия — небесный тяжкий крин —

Мне обнажаясь,

так внезапно распускаясь на лету,

Безумно Гоголь Достоевский Гофман Грин —  
Переплавляя польский гонор в эту некую мечту.  
Вошёл.

И притолоку закопчённую щекочет шапки меховой  
высокое и тёмное перо.

Чужие серые глаза

так замкнуто и отчуждённо сердятся.

В тоскливой обречённости заходится моё от страха сердце.  
В глазах моих на миг взлетает горница колышется пестро.  
Вошёл.

На выскобленной столешнице бутылей смутных

влажный непорядок.

В подсвечниках неровный свет свечей.

И почему-то страшно и тоскливо мне увидеть  
коричневую гривку ровных прядок —

Вдоль щёк посверкивают до плечей.

Высокий лоб.

Славянски выступают скулы высоко  
над праздничным нарядом,

В котором щегольство сапог

и безрукавной куртки бедный канифас.  
И холодят безумновато-горделивым отчуждённым взглядом  
Чуть плоские и серые глазури королевских глаз.  
Когда разлука  
ещё совсем недавно  
триста лет назад  
была красавицей и чернотой кос бровей  
была цветок восточный песней соловей  
Офелий всех прекрасней и живей  
Была прекрасна в этой странной прелести своей.  
И вот уже  
чудная круглая старуха.  
Так неприятна, так противна эта новь;  
так хочется обратно,  
Туда, где жизнь твоя земная начиналась  
в цвет весенний лес.  
Но нет,  
прочь улетает Гамлет одиноким польским всадником  
Рембрандта;  
И Фортинбрас,  
орлино клекоча,  
встаёт наперевес.  
«А вы боитесь...» — Лазарь Вениаминович насмешливо  
сказал...  
Да, я боюсь тебя. Да, я боюсь, конечно.  
В тебе есть страшное. Оно — погром, пожар;  
оно — история и вереницы предков.  
Оно — как будто оборотень — волчья голова живая —  
ночью припадает вдруг зубами и лицом ко мне на грудь.  
Там, в прошлом, страх и ужас для меня  
темно кромешно.  
Ты можешь улыбаться, но меня твоё лицо в улыбке  
не может обмануть.  
Мы друг друга любили,  
возможно, до самой смерти.

Это стихотворение —

оно —

повторяющиеся рифмы.

Это стихотворение —

на самом деле оно —

поэма,

на самом деле оно —

роман,

и на самом деле оно —

кино!

Тривиальное стихотворение о пьесе.

Я сказала: «тривиальное».

Это не кокетство,

я не лгу,

это философия.

Прощайте!

Прощайте, прощайте навеки

Неловко

в музейной безоговорочно-навсегда

Прощайте!

Когда настолько страшно убивают, навек прощаются грехи  
живые.

Что же говорите

вы так думаете, мы

Когда надоедает быть убитой, я уезжаю вместе навсегда  
Мы связаны,

мы связаны, как реки,

Славяне, звёзды, турки, балдахины,

Евреи, птицы, львы и арлекины,

Камзолы, кружева, полёты, греки...

Но главное —

как слипшиеся веки

закрытых глаз

от слёз

Как слипшиеся веки

от слёз  
такими тоненькими стрелками ресниц...

(1997—2011)



## Сказание о Болгарском Перце

*Художественный фильм*

*Приключенческая драма*

*Марии Ходаковой и Владимиру Строчкову*

Всё начинается с одной строки в ресторане

И вот она:

«Именно болгарский перец придаёт украинскому борщу  
настоящий грузинский колорит»

И вдруг

пресс-конференция

международных объединений

кухнепарламента кулинарийной Европы

Мадам Меню, корреспондент газеты «Форель о блё»,

корреспондирует народного певца Чахохбили:

— Это ваши слова о болгарском перце, который  
придаёт грузинский колорит?

— Нет, это не мои слова,

я говорил совсем другие слова,

я говорил, что грузинскому колориту

не нужен ни болгарский перец, ни украинский борщ!

И тут подаёт реплику от журнала «Салат Рюс»

Тульский Самовар:

— Ну и катись колбаской!

— Вы имеете в виду салями? —

спрашивает Куриный Пилав —

от агентства «Имам баилди»

— Где же коллега Болгарский Перец? — волнуется

мадам Меню.

— Я против трафика пряностей! — заявляет Куриный

Пилав, —

я предлагаю мирное урегулирование требований...

— Нет, это не тот перец, который пряность! —

воскликает экспансивный народный

певец Чахохбили, —

Это перец, который можно резать!..

Так он говорит, этот экспансивный народный

певец Чахохбили

А пресс-конференция идёт, идёт

А в это самое время

самолёт летит в московскую Москву

длинный самолёт летит в московскую Москву

Зимняя зима

Самолёт летит сквозь холодные облака

Самолёт пролетает холодные облака насквозь

Болгарский Перец летит в Москву

Летят в самолёте чёрные чизбургеры

с чёрными Венерами-жёнами

смеются белыми зубами

и весело переговариваются на разговорном французском

франкофонные

Бизнес-классом летит Осетрина с Хреном

Осетрина в норковой шубе в пол

Хрен пузатый

с бородкой белёсой

читает прозрачными глазами-луковицами

книжку

Михаила Веллера называется

Александр Авдеенко «Над Тиссой»

Век двадцать первый уже идёт-идёт

Пресс-конференция уже идёт-идёт

А двадцатый век всё ещё кончается-кончается

А самолёт едет, уже едет

И вот облачная слякотная сырая московская зима

Болгарский Перец — красивый парень

высокий брюнет

с лицом молодого восточного принца

с картин династии Великих моголов

чёрная куртка  
сумка такая кожаная —  
ремешок на плече —  
как будто Дин Корсо в «Девятых вратах» Поланского  
мобильник «нокиа» звенит первыми тактами

«Турецкого марша» —

О, Моцарт! —

— А-áло! — раскатывая певуче...

— Здравéй, приятелче! — обычайно-ласково...

— Да-а...

— Почáкай мáлко...

— А-áйде! — чуть раскатывая старинное тюркское —  
и шегольски легко —

Чао!

Имя —

Андрéа, Лáзар, Николай, Жан-Дидье, Мустафа Озтюрк

Место рождения —

Кырджалийский округ, последняя оконечность Александрии

Гражданство —

суп-пюре Крессí

Вероисповедание —

улитка а-ля Сюсареллó, аншоá, крендель выборгский

Род занятий —

фрилансер, грузинский колорит, ваниль-

бурбон, сальса ди помадоро,

квас монастырский, фасул-чорба

— «Я — человек свободный, гражданин вселенной!» —

говорит старинный Казанова

Сегодня работа Болгарского Перца позавчера —

быть Грузинским Колоритом

Поэтому Болгарский Перец

прилетел в Москву

туда,

где только что испечённые в тандыре,

ещё горячие телохранители мрачного

Хачапури по-аджарски  
заводят краткий разговор,  
такой:

— Вы — Болгарский Зонтик?

— Я — Болгарский Перец! — отвечает лаконично  
Болгарский Перец, —  
вот мой шенгенский паспорт...

— А-а... Ну да... Украинский Борщ — там! —  
показывают резкими жестами рук  
мрачные телохранители

«Приехав к воротам Реверо, я выдал себя за офицера испанской армии и заявил, что еду в Венецию для переговоров с герцогом Моденским, в это время находившимся там по делам большой важности...

Я сказал аббату Гримани, что я в Венеции проездом и счёл своим долгом посетить его, а он сказал, в свою очередь:

— Я не ожидал видеть Вас в таком костюме!

— Я избрал благую участь, отвергнув путь, на котором не мог бы достигнуть успеха, способного удовлетворить меня!

— Куда же Вы едете?

— В Стамбул! И надеюсь получить скорейшим образом пропуск на Корфу, ибо у меня срочные поручения от кардинала Аквавива!

— А откуда Вы сейчас?

— Из испанской армии, где пробыл десять дней!» — так говорит, так рассказывает старинный Казанова!..

Старинный Казанова.

Болгарский Перец делает вид,  
будто он — Грузинский Колорит,  
иначе не пройдёшь на тайную кухню ресторана,  
где наподобие очага в сакле —  
камин

И хмурый Хачапури по-аджарски  
спрашивает, акцентируя слегка:

— Вы — новый Грузинский Колорит?  
И слышит тихий таинственный и доверительный ответ:  
— Да, я Болгарский Перец  
И тогда спокойно говорит суровый Хачапури по-аджарски,  
чуть вскинув ладонь, почти коричневую,  
в жесте показа,  
и говорит:  
— Украинский Борщ — там!  
И даёт суровый Хачапури по-аджарски  
сакраментальное интервью  
Болгарскому Перцу  
И Болгарский Перец  
на мгновение скрывает свои глаза фотоаппаратом  
И наутро  
во всех газетах мира  
на первых полосах  
смотрит чёрно-серое с белым лицо сурового  
Хачапури по-аджарски  
И наутро  
Болгарский Перец просыпается знаменитым,  
осыпанным сахарной корицей международных премий  
и немножко получившим большие деньги,  
которые золотая какая-то «кард»  
А Украинский Борщ уже ок! —  
через два часа  
И Болгарский Перец зажигает ногами на танцполе,  
топает подошвами чёрных туфель,  
плещет вскинутыми руками  
А музыка гремит  
А разноцветный электрический свет  
загорается и гаснет в темноте  
судорожными вспыхиваниями  
Я зависаю с девчонкой в баре  
Красные ворота, Чистые пруды  
Чёрные ворота, Красные пруды

Ася, Катя, Миша, Володя  
На хуй!  
Толстый том Зданевича  
Тонкая книжечка Андрея Николева  
В спа-салоне «Вишнёвый десерт» пахнет немножко банно,  
резко ароматно-влажно  
Тайская Стеклянная Лапша делает сильный массаж  
Болгарскому Перцу  
Мобильник «нокиа» звенит  
Закончена работа  
На Новом Арбате казино «Корона»  
Большая корона сверкает, как будто золото в мультфильме  
Шарик металлический подпрыгивает на узком  
чёрном прямоугольнике  
На Новом Арбате в казино «Корона»  
Болгарский Перец выигрывает восемьсот евро —  
много рублей  
В пасмурную сырую московскую зиму  
такси  
он уезжает в аэропорт  
Жаркое лето  
Жаркое лето  
Жаркое лето  
Ранен шофёр  
Где опять Украинский Борщ?  
Ещё один Украинский Борщ кипит  
в камуфляжном алюминиевом котле  
Перебрасывайте ложки, блин!  
Где Блин?  
Я — Болгарский Перец!  
Я — Болгарский Перец!  
Это Безумная Грета!  
Это  
Безумная Грета!  
Безумная Грета, я — Болгарский Перец!



прёт напролом,  
взрывая землю копытами,  
вперёд рогами прекрасного критского быка,  
уносящего деву Историю,

поющую восторженным голосом:

«Война! Война!»

Огромное жаркое небесное создание —  
военный огонь! —

гигантским прыжком с размаха врывается,  
прыгает на эти балконы провинциальные,  
вонючие мирной жизнью

А ты сидишь, как будто Ницше,

на большой дороге беженец,

прижав ноутбук обеими руками к груди,

к этой мокрой-мокрой от беженского пота майке,

надетой впопыхах,

счастливым, кто посетил сей мир

в его минуты роковые

Призвали, как сор трапезника,

на пир!

Даже не в качестве бараньего жаркого!

И только Болгарский Перец

и вправду счастлив!

Он в танковой колонне

Он в танковой колонне

Он подбегает

Рвутся бомбы

Люди в страхе бегут

А он спокойно стоит

На плече камера,

к лицу прижат тридцатипятимиллиметровый  
фотоаппарат

В дыму и пламени

Болгарский Перец стоит в программе новостей  
на экране всех телевизоров



Болгарский Перец  
Болгарский Перес Реверте  
Болгарский Перец,  
у которого бывает много всего!  
У которого бывает:  
кэноновская зеркалка — фотоаппарат  
натовские армейские штаны  
чёрный тельник  
ботинки такие большие  
на ногах больших длинных  
ботинки,  
которые называются:  
«коркоран»,  
или «копкопан» —  
не помню в точности  
видеокамера цифровая профессиональная  
«камкордер» «сони» «сони»  
Названия разного оружия, разных камер  
и фотоаппаратов —  
всё латинскими-латинскими  
большими прописными буквами!  
Болгарский Перец!  
Болгарский Перес Реверте!  
Рвутся снаряды  
Свободу словам!  
Свободу фотографиям!  
Свободу самому разному кино!  
А ты умоляешь в пространство  
душного горячего дыма:  
«Дайте немного здоровья,  
немного жизни,  
картриджа совсем немного  
и!  
чтобы мне совсем не умереть!  
Не хочу!

Не надо умереть!»  
И тут и Франция с флажком бежит  
«Миру мир!» — кричит  
И Россия тут как победит!  
Быстро танками вперёд  
Ты куда это всех побеждать?!  
Распобеждалась тут!  
Победившая такая!  
Да!  
А вот и победила и иду!  
Всё равно приятно всё-таки!  
Угу!  
Нет, смотрите, как она распобеждалась!  
Марш в дипломатию сейчас же!  
Ататюрк  
даёт пинка греческим кораблям Венизелоса  
Греческие корабли ахейцев кубарем катятся  
в Пирей!  
Троянское знамя борьбы танцует на ветру  
«зейбек»!  
Троянский конь не пройдёт!  
Измир — наш!  
Анадол — наш!  
Да здравствует,  
да живёт Приамов скворешник!  
Летят империи, рыдая и смеясь  
И женщины совсем убиты  
под мышкой с булками сидят  
скамейкой деревянной лавкой  
запилив кофточку булавкой  
Бомбёжки улетают в грязь  
Сонаты и Организации  
поют мужчины ариями баритонов  
Огнями дети факелами вспыхнут  
Машины быстро-быстро уезжают

И вас на пир случайно пригласили,  
как сор трапезника  
А я — счастливая!  
Я вижу этот мир!..  
Куда  
Туда  
идти  
так много счастья впереди  
свободности легко в груди  
Гляди  
Лети  
И самолёт опять летит в Москву  
опять зимой  
Болгарский Перец прилетел в Москву  
Он великолепный  
в камуфляжных штанах  
и в тяжёлых армейских ботинках  
в чёрной кожаной гражданской куртке  
в кепке-бейсболке  
В метро мраморно-душно  
Станция «Кропоткинская» моя любимая  
колонны толстые и лёгкие —  
сёстры тяжесть и нежность, что ли?  
Мимо листочка в метро на выходе:  
«Саакашвили — фашист.  
Грузинский народ, не верьте ему!  
Россия Грузия — дружба!  
И весь Кавказ» —  
почти детский почерк —  
шариковая ручка —  
аккуратные большие буквы —  
большого размера  
Зима — сырость — много людей в пальто  
Болгарский Перец покупает в киоске журналы,  
гладкие в тонкой плёнке химической —

«Мадам Фигаро», «Караван историй», «Ваш досуг»  
Взмах небрежной руки в рукаве куртки чёрной кожаной  
такси  
Смуглый шофёр  
«Ми борí сар Коранí» —  
поёт музыка  
в маленьком низком и тёплом  
воздухе машины  
За стеклом —  
полёт мелкого снега —  
вниз вниз  
Летит снег сквозь раннюю вечернюю темноту сырой зимы  
Далеко-далеко  
мимо тёмного леса по дороге шоссейной  
в самое далёкое Бутовое-Забеляево Медведково  
Это Россия!  
Дом — башня братьев Лимбургов  
код — цифры — замóк — дверь  
Открылась  
В подъезде сумрачно  
Ребята  
наверно, собираются укалывать в себя наркотики  
Надпись  
возможно разглядеть на грязной стене —  
«Маринка плюс Антон равняется любовь»  
Смотрят с любопытством  
Ведь жители местные  
полагают, что снаружи дома — враги,  
а не внутри дома!  
Полетел вверх лифт  
вверх вверх  
В чистой маленькой прихожей нет окон  
свет домашней электрической лампочки,  
одетой в белый матовый колпачок  
Уютно

паркет бликует чистый  
Маша —  
лицо Кикиморы Билибина,  
принцессы Сибиллы,  
монахини-расстриги Катарины, Лютера жены,  
великой княгини Ольги Александровны Гольштайн-Гот-  
торп-Романовой —  
русское немецкое московское лицо  
в короткой стрижке серенькие волосы-пёрышки в прямой  
чёлке

Маша  
худенькая девочка-студентка  
учится на филфаке эМГэУ —  
античная филология —  
какие-то комментарии Порфириона  
к чему-то что-то Горация —  
Комментарии Порфириона  
к шестнадцатой Горациевой  
эпode  
Машин отец — ветеран афганской войны —  
разменяли трёхкомнатную квартиру на две одно-  
комнатные —  
живёт отдельно  
учил её, говорил:  
«Надо целиться между двумя ударами сердца.  
Поэтому женщины — самые лучшие снайперы.  
У них сердца бьются слабее, чем у мужчин.  
Надо выстрелить между двумя ударами сердца».  
Маша Селищева  
выбивает из духового ружья восемь из десяти.  
Это без линз.  
Она близорукая.  
А когда с линзами в глазах,  
может и десять из десяти,  
из духового ружья.

Маша Селищева —  
серые мягкие домашние брюки, цветастая блузка  
Улыбка хорошая —  
— Коля! —  
с восклицательным знаком  
— Здравей!  
Он улыбается, как будто улыбающийся фокусник  
Он вынимает из сумки блестящую позолоченную  
коробочку  
с флаконом «Опиума» от «Ив Сен-Лоран»  
Из сумки появляются завёрнутые в целлофан  
две розы  
очень лепестково-махровые оттенками алого  
У него в сумке —  
два пистолета-«скорпиона»  
дешёвые — для командос —  
два пистолета австрийских — «глок» —  
он купил хорошие пистолеты у Кибовского и Передерия  
В сумке —  
складной военный веер гунсэн  
и очень маленький самурайский меч  
и маленький бубен,  
чтобы с помощью магического камлания  
в мифического большого волка превращаться,  
как будто царевич Баян в хронике Лиутпранда  
Вкусные котлеты салат вино  
Маша зажгла на столе свечу  
в подсвечнике на белой скатерти  
Вот он —  
великолепный император Акбар в круглом тюрбане  
в кафтане алого шёлка,  
перепоясанном тонкой персидской шалью,  
расшитой серебряными нитями  
туфли остроносые  
Разлёт чёрных глаз

тонкий профиль  
Это Болгарский Перец  
Маша неотразима  
Остроконечная шапка-эннен  
над её бледным лицом Симонетты Веспуччи  
Маша —  
бледная голубизна и коричневость одежд,  
волнистость шлейфа на паркете  
Два цветка дремлют ароматно-тонко  
в простой стеклянной синей вазе посреди стола  
Большая занавеска отдёрнута, как в театре занавес  
Тёмное синее окно расцвечено праздничным  
летением снежинок  
На подоконнике чистом белом — бутылка «Мартини»  
Молча прижавшись друг к другу тёплыми телами,  
совсем голые они смотрят на дивиди  
«Мертвеца» Джима Джармуша,  
курят лёгкую травку,  
они забрались на диван с ногами  
И ночь ночь ночь  
Нежная подушка-гусыня  
горьковато пахнет его «Землёй Гермеса»  
Его тело горьковато пахнет «Землёй Гермеса»  
Часы бегут бегут  
ногами изящной длины  
Кармен Висенте Аранды — Пас Вега —  
чулки с подвязками красными бантами башмачки,  
истёртые тонкими подошвами  
о брусчатку улицы Кандилехо  
Твоя! Твоя!  
И утро  
утренняя любовь  
будильник  
волшебнo-горячий душ в тёплой ванной комнате  
махровое полотенце, такое домашнее

— Коля!  
Кофе!  
Последнее объятие  
Холодный свежий воздух для дыхания  
Мимо домов — башен братьев Лимбургов  
Далеко-далеко —  
такси —  
аэропорт  
«Жизнь — благо!  
Но если думать, что жизнь — череда несчастий,  
тогда выходит, что жизнь —  
одно сплошное несчастье,  
тогда выходит, что смерть —  
это счастье!  
Только те, которые так рассуждают,  
они или бедные, или совсем больные.  
Вот если бы они были совсем здоровые,  
и у них были бы деньги  
и веселье в сердце  
и много красивых девчонок  
и одна — очень хорошая —  
вот если бы у них всё это было  
вместо болезней и разных тоскливых мыслей,  
вот тогда они были бы счастливыми!  
Потому что жизнь — всё равно счастье!  
Конечно, бывают несчастья в жизни,  
и даже и много несчастий,  
но счастья всё равно больше!» —  
говорит старинный Казанова!  
Улетает Болгарский Перец  
Завтра его работа —  
быть выдержанным «Педро Хименесом»  
Это не человек,  
это вино такое испанское.  
Счастья всё равно больше!



## Синеглазый Турок

*Мелодрама*

*Художественный фильм*

*Оксане, Тоне, Майклу Уинтерботтону*

Город София не существует  
    можно долго идти  
    и не прийти никуда  
    потому что в городе нет ничего старого  
    ничего древнего  
    ничего исторического такого важного  
Совсем ничего  
Только улицы  
    только дома  
    только дождевые лужи  
    только снег  
    только на улицах машины  
А когда ничего нет  
    ничего исторического такого важного  
    никакой памяти  
    никаких воспоминаний истории,  
        которая Клио,  
    когда совсем нет ничего  
Тогда можно возможно  
    просто дышать свободно  
    просто смотреть в окошко машины  
    просто видеть капли дождевые на стекле  
Я не знаю с чего начать —  
    она Тоня сказала  
Старший брат  
    сын от первого брака отца  
    богатырь-жидовин  
    Олег

Он поругался со своим мальчиком  
со своим очередным бой-френдом  
она сказала  
со своим любовником  
И вот убегает в Одессу  
из одного маленького украинского города,  
который не существует,  
в котором дышит светлый слепой дождь  
И вот из Одессы, которая существует,  
почему-то убегает на пароме в Болгарское ханство  
Там в Софии он встретил Синеглазого Турка  
Это был его новый друг  
И надо было вернуться уже в Ленинград  
потому что приезжают насовсем в Ленинград  
наугад  
она Тоня, ее отец и мать  
из одного маленького украинского города,  
который не существует  
Брат  
не пришел к ним  
жил в огромной старинной квартире  
похожей на Страну Приливов  
там всё было для всех многих  
он курил много травы  
он рисовал картины —  
королеву Меровингов и викинга  
в простом виде смутных пятен акварельной краски  
Пасечника в маске и Сладкую Розу  
надышался в Софии и жил в Ленинграде  
И пришел человек  
этот человек снова был Синеглазый Турок  
Синеглазый Турок покупал картины —  
Перестройка —  
современное русское искусство —  
продавал в частные коллекции и в галереи

было модно —  
было жутко модно  
Тоня она сказала —  
в Париже и в Нью-Йорке  
было жутко модно  
Синеглазый Турок  
презирал эти галереи  
и эти коллекции  
и этих художников  
Он говорил, что всё это совсем не искусство!  
В грязной ванне мокли желтые простыни  
Брат почему-то сидел голый на краю ванны  
и удерживал на правом голом колене  
«Сад Финци-Контини» —  
«Il giardino dei Finzi-Contini»  
забытый Синеглазым Турком  
Синеглазый Турок летел и читал в самолете  
«Il Ponte Della Ghisolfi»  
Он почему-то любил итальянский неореализм  
Он всё время приезжал возвращался в Ленинград  
Это было давно  
тысяча  
девятьсот  
восемьдесят  
девятом  
году  
Ей было четырнадцать лет  
Давно  
с той поры прошло двадцать лет  
Сейчас ей тридцать четыре года  
а тогда...  
сначала четырнадцать, а потом восемнадцать  
в комнате брата  
Синеглазый Турок  
Его звали очень сложным турецким именем

в котором было много букафф  
Она Тоня говорит  
мotalись по городам и странам  
он познакомил меня с такими разными людьми  
Не верите мне? —  
она спросила  
И не надо! —  
сказала  
Она любила причинять боль  
сама не знала, почему  
Он любил, когда ему было больно  
и, наверное, знал  
В самолете она  
дождь идет между облаками  
Самолет идет вниз  
кружевные ветки снежные повисли  
над машинами продолговатыми бегущими  
потому что мы вместе летели в Стамбул  
она Тоня говорит рассказывает  
В Стамбуле его мама в очках  
покрашенные рыжеватые волосы учительница  
в белом давнем платье свадебном  
на фотографии красавица  
Ночная дорога из аэропорта,  
по которой после мы столько раз проедем,  
встречала снегом  
Тоня говорит рассказывает она  
Помню развилку перед поворотом на Кадыкей,  
мелкий легкий снег на асфальте в свете фонарей  
Дальше — не помню  
и аккуратные цветные домики Бостанджи  
Кажется, всю неделю шел снег  
Тоня она говорит рассказывает  
В один вечер мы поехали в сторону Черного моря  
колеса не хотели въезжать на холм

тогда мы спустились к Босфору  
Был парк за каменной стеной и наледь у входа  
И был в Канлыдже йогурт с сахарной пудрой  
самый вкусный йогурт в моей жизни!  
В Карфуре тоже такой  
И был фонарь у дороги  
Снег снег снег  
Самый прекрасный снег в моей жизни!  
Мы играли в снежки и смеялись  
Тогда ей было двадцать три года  
küçük gözlerin  
çöl haramisi  
Тоня Тоня  
твои милые глаза пустынные разбойники  
А вот и высокий светлый дом  
на апельсиновое дерево смотреть с балкона  
увядшая трава  
облака растрепались в ярком небе  
чайки кричат над водой Мармары  
Маленькая мутно-синяя вода  
множество треугольных крыш  
и черные пятнышка окошек  
если с высоты  
А в парке Фенербахче  
Турция снится как сон  
в парке Фенербахче  
глядя на разноцветно-синюю  
переливчатую воду морскую  
и Принцевы острова  
И в цветении веток деревьев  
она Тоня раскачивает низкие качели  
Ксюхе-Ясимин три года  
Соньке-Соние только год еще  
джинсы в обтяжку молодая мать  
любимое кадыкейское кафе

за греческой церковью на Бахарие

Она Тоня говорит рассказывает

У меня есть любимый Старбакс

на проспекте Багдад в Стамбуле

музыка

чашка латте в дождливый январский день

весь исцарапанный деревянный пол

стулья такие тяжелые, будто из камня

ложки тихонько звенят о стаканы

Синеглазый Турок рядом со мной читает газету

Ксюха пьет молоко

детски охватив стакан

розовыми пальчиками обеих ручек

в шерстяных пушистых рукавчиках

И ничего не происходит

и это хорошо

И дождь за окном идет идет

Послушай посмотри, Тоня

яблоки и баклажаны поспевают

листья опадают

проходят дожди

дети подрастают

Турция снится как сон

Город Стамбул существует

Город Стамбул —

город воспоминаний Орхана Памука

Город Стамбул —

город моей книги «Хей, Осман!»

Я смотрю, закинув голову, на минареты Голубой мечети...

Турция!.. Истанбул... Золотой Рог... Могила Михала Гази...

Просто люди — мужчины в кепках, женщины в платках,

повязанных под подбородком... Красивые лица... Измир...

Анкара... Истанбул... Где затерялись в этих краях следы моих

дальних предков?... Истанбул... Турция...

Мерхаба! — Здравствуй! — Мерхаба!..

Я в Турцию хочу  
А самолеты каждый день  
уплывают в Истанбул  
Я в Турцию хочу  
А пароходы каждый день  
улетают в Анкару  
А я в Турцию хочу!..  
Рассказывай, Тоня, говори мне, говори  
Она Тоня рассказывает говорит  
он разбился на авто во Франции  
сел за руль пьяный и за каким-то чертом поехал в Монако!  
Я схватила ножницы и резала его фотографии,  
все фотографии, где был он!  
Я схватила ножницы и...  
больше ничего...  
А вы, наверное... что я всё придумала?  
Ну и можете так... Ну и пусть!..  
Она Тоня сказала мне  
А я ведь вот такое  
О память женского тела  
ты сильнее  
рассудка памяти печальной  
и даже и памяти сердца  
Она любила запах его тела, его губы, его щеки, его руки  
Она в пятнадцать лет написала смешную строку  
в стихотворении:  
«Я пенис твой люблю!»  
Она не может заснуть без его крепкой руки,  
обхватившей ее бедро,  
без его сильного теплого дыхания  
ей в затылок, в шею  
Она вернулась на север  
Удаление Ленинграда в память  
В Питере двор —  
колодец, конечно —

с пятого этажа лететь стремглав  
Не надо  
В стране Гипербореев  
Есть остров Петербург...  
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров...  
Утром она просыпается  
и будит своих маленьких дочек  
Соньке-Соние четыре года  
Ксюхе-Ясимин уже шесть лет  
Она Тоня кормит их манной кашей и поит  
апельсиновым соком  
«Где моя пожарная машина? — серьезно кричит Ксюха —  
Где моя пожарная машина?»  
Игрушка под кроватью  
Ключи оказались в маминой сумке  
Мама  
ее мама  
смешливая моложавая хохлушка  
подхватывает большую сумку  
в которой браслеты серьги и брошки  
она продает бижутерию  
легкие посеребренные украшения  
похожие на легких посеребренных кузнечиков  
кузнечиковые цикадные украшения  
Утром Тоня отводит детей в детский сад  
девочек своих  
Ксюху и Соньку  
Она совсем проснулась на холоде осеннем  
разгулялась покраснелась  
Она вернулась домой  
Она варит кофе  
Она завтракает на кухне  
Она запивает горячим кофе хлеб с маслом с сыром  
Она повязывает укладывает  
наклонив каштановую гривку



складчато укладывает поверх черного пальто  
большой —  
цветами — красными розами — на коричневом —  
шалевый платок  
Вдруг виден ее румянец живой чистый  
и мгновенные  
подкрашенные красиво ресницы  
Видишь мгновенно румянец  
нежный очень  
и ресницы  
на круглоте совсем еще молодых щек  
И она выходит из темного подъезда  
и она улыбается  
и соседка навстречу спрашивает  
почему Тоня улыбается  
— Разве я улыбаюсь?  
И она идет улыбаться дальше  
Это ее прогулка  
Питерский двор летит обычным колодцем  
Серая прозрачность и морось  
Серая прозрачность колыхается в дождевом позднем  
осеннем воздухе  
И она снова приходит домой  
возвращается  
и целый день  
она сидит за компьютером  
пишет какие-то рецензии  
для одного агентства печати  
покамест отец  
интеллигентный седоусый лях  
включает пылесос  
хлопает дверцей холодильника  
подбирает игрушки  
с этого темно-бордового ковра  
И вечером поздним дети спят

Она сидит на диване в большой комнате  
Ночь спряталась в окне, занавешенном плотно  
Настроение хреновое  
«Жопа! — думает она, — какая жопа...»  
и вот привстает и тянется к большому компу на столе  
Она гуглит «жопа»  
и хохочет, как ребенок,  
хохочет, как девочка маленькая,  
как ее синеглазая Сонька  
И она Тоня лежит на диване, закинув руки за голову,  
и тихонько повторяет четыре раза  
Ариф  
Ариф Ариф Ариф  
Его звали Ариф Чамуроглу  
его книга о творчестве Джорджио Бассани  
вышла в издательстве «Нефес»  
И она Тоня вскакивает и хватается за эти краски  
акварельные  
И она Тоня рисует акварелью большие синие глаза  
только глаза  
и никакого лица  
только глаза...

## *Вантр де Пари*

*(Из цикла «Западный миндер»)*

Эмиль Золя пришел с мороза,  
раскрасневшийся,  
в Париж;

Вошел, как входят итальянские евреи;  
В мохнатых рукавах большие руки грея;  
Он так бежал, он так летел —  
скорее!..

Скорее! — Он Кустодиев, Шаляпин —  
выше крыш!

Он весь прекрасен, лик его ужасен, он прекрасен —  
он — Париж...

Вошел, как входят итальянские евреи,  
в Париж;

Ломброзо, например:

«Скажите мне,  
какие это русские евреи?  
Какие-то совсем и не евреи.  
В таверны никогда они не ходят,  
и ни одной таверны в тех краях  
я не нашел.

Они всегда мрачны,  
и песен не танцуют — не танцуют,  
и танцев не поют и не поют.

В каморках удушающих сидят,  
качаясь взад-вперед,  
и изучают  
Большой Талмуд...

Нет, нет, мои друзья! —

В Италии евреи не такие.

В Италии евреи настоящие!

Они танцуют песни и поют...»

Ломброзо говорил свои слова...

Эмиль Золя вошел с мороза,  
раскрасневшийся,  
в Париж...

Там, на его пути, стояла демонстрация —  
какие-то протухшие и серые художники,  
поэты  
с плакатами:

«Сохраним национальное отстояние!

Оно — отстой!

Да здравствует отстой старого Пушкина гóрода!  
Отстоим его!»

Стояла демонстрация с плакатами —  
какие-то пропахшие и серые художники,  
поэты.

Эмиль Золя вошел с мороза, раскрасневшийся, в Париж;  
случайно демонстрацию смахнул  
размашистой полою шубы,  
не заметив;

И произнес великих дум слова,  
которые возможно рассказать слова, —  
Послушайте!

Здесь будет новый рынок заложен,  
назло соседу пухлому, который  
словами хнычет и пищит и хочет:

«В Москву...» —

из этой жахлой Чухломы —

«В Москву...»

Так вот, Москвы не будет! Заиграет мощный рынок!

Здесь мощный рынок встанет головою вверх,  
он разлетит безглавой одалиской,  
огромно раскидается на всём московском месте,  
на месте пошлой, староитальянской  
постройки ярко-красного Кремля!

На старом месте встанет новый рынок!

Вперед!..

Мужские буйные умы,  
востропалённые умы,  
в своем фаллическом законе  
Отсель обедать будем мы  
Назло надменной тете Соне.  
Здесь будет пахнуть кофею, сырами;  
И рыбы драгоценными камнями  
у гробового входа будут танцевать.  
И будут жизнью молодой играть  
веселые отчаянно торговцы.  
И пусть у гробового входа,  
у выхода у дорогого,  
узкого такого,  
Младая будет жизнь играть.  
И добродушная Природа  
всех будет кофею поить.  
Оковы тяжкие падут,  
темницы рухнут.  
И свобода!..  
Нас пустят всех в прямой эфир.  
Всех сразу пригласят на пир,  
как сотрапезников.  
И даже тетя Соня  
нас встретит радужно у выхода у входа;  
И братья мячик отдадут..  
И вот он, рынок, —  
одалишка он безглавая —  
летит.  
И вот он, рынок,  
разлетел безглавой одалишкой.  
Ну и что?  
Зачем змея свой хвост кусает?  
Зачем-то рынок ускользает.  
И слова сердцу девы нет.  
На улице жара, прекрасная жара;

прекрасная жара в прекрасных переулках,  
где обвивают виноград и плющ  
такие дворики Востока...

Дивный рынок

огромно высится в жаре летящей —  
в Москве Стамбула —  
дивный, дивный рынок!

Он стелется летящее пространство

пахучим потным платьем Роксоланы,  
парчовой и безглавой одалиской,  
мясистой драгоценными камнями.

Накидка бархат

серебристая лисица  
витрина

силуэт красавицы безглавой

Летит в пленительном уборе

в Париже пасмурном

в таинственных парижских сумерках  
на бал

Сквозь газовое смутное фонарное старинное сиянье...

Приходит Миша.

Александра во дворе

пригнувшись жирно под навесом кухни  
котлеты жарит.

И приходит Миша.

— Чудесно, Миша! Как ты поживаешь, друг?

Скажи мне,

женщины, которые на буквы,

когда берут все деньги у мужчин —  
до или после?

И Эмиль Золя

очки снимает волосатыми руками  
и держит пальцами,  
как мотылька — медведь,  
над письменным столом

сугробами бумагами романа

До или после?

После или до?..

— Подай мне, Александра, кубок мой,  
стакан кувшин мой звонкий узкогорлый  
метелей русских петербургский свет...

# **Четырёхлистник для моего отца**

..здесь... можно участвовать в игре, даже не  
понимая ее... В этом отличительное свойство  
(но и коварство)...

*Умберто Эко «Имя розы»*



## *Первый лист*

### *Введение Франсуа Вийона в мои стихотворения*

Liber scriptus proferetur  
in quo totum continetur  
unde mundus indicetur

Козы — жидовские коровы были крылаты  
Человек-цимбалист на холсте был изогнут вконец  
Ты встаешь в грязной гордой готике жидовской хаты  
подросток оборванный

Ты — мой отец

Ты выучил русский язык, чтобы читать

Я спросила не знаю почему спросила

— А твоя мать любила тебя?

— Била, — ответил ты и улыбнулся непонятно

— Почему? — спросила

— Да я больной... — ответил и опять улыбнулся непонятно

Кажется, я поняла

Бить больного ребенка за то, что он больной  
в этом оказывалась некоторая логика  
от которой ты отказался спонтанно  
и побил меня только один раз  
когда я не знаю зачем

остригла ножницами щетку для туфель

— Нет, — сказал ты, — любят только в книгах на русском языке

Жил в готике жидовской хаты

под крышей готически соломенной

жестоким озорным беззащитным подростком

Я не знала других людей, которые были бы такими

средневековыми, как ты

В темной корчме наливали водку из темной бочки в сулеи

зеленого стекла

и брали взамен бараньи шкуры невыделанные  
Старинный хмурый жид босой  
высовывал наперед бороду остроконечную  
Это была глухая Галичина  
Век девятнадцатый готовился к войне двадцатого  
Река гремела между гор  
Крестьяне в белых с красным одеждах  
валили высокие сосны архаическими топорами  
Параджанова  
и этими топорами рубились,  
людей рубили в побоищах  
Ты говорил мне с улыбкой о всевозможных побоищах  
и погромах  
которых ты видал много  
так говорил  
как будто всё это были шутки Панурга  
брутальные  
но всё равно веселые!  
И завидев хромого или горбатого ты смеялся  
А я этого смеха не понимала  
как не понимала Вийона и Рабле  
Сейчас едва-едва поняла  
И наверное вот в чем оно  
вот —  
возможно так:  
хромой или горбатый — это как будто пародия  
на здорового человека,  
насмешка  
И — стало быть — смеяться над уродами естественно!  
Это была глухая Галичина,  
где  
ты ходил босиком а зимой дома сидел не было сапог  
в грязной рубахе и засаленном жилете  
пальцы и ладони вытирал о штаны  
Тебя не приучили мыться

только в грязной воде ритуального омовения рук  
а мыла не было совсем  
Зато сам научился переплывать реку саженьками  
Ни слова!..  
Из леса забега́ли волки  
на узких улицах играя  
Париж средневековый жидовского городка жил  
там!  
И только от телесной боли  
Катилась по щеке слеза  
И верили в свободу воли  
Твои смешливые глаза  
Кровью картину средневековья городок жидовский ладонь  
тянул  
протягивал Европе готической  
И в шапках, отороченных мехом рысьим,  
в халатах длиннополых степей  
плясали экстатические жида  
под всякие-разные дудки бубны и скрипки  
никогда  
не испытывая страха смерти  
Девочке-невесте  
брили голову на свадьбе и покрывали чепцом и платком  
Твоя вдовая мать причитала на всех похоронах  
и получала одну курицу за каждое семидневное  
причитание  
Ты этих причитаний не помнил,  
но когда ты рассказывал о том, что они были,  
они правда существовали,  
когда ты рассказывал,  
мне тоже хотелось так!  
И пусть не дают ничего,  
только причитать...  
Ученик сапожника  
ты в мастерской сапожной нечаянно убил человека

обидчика  
он каждый день высыпал на тебя на потеху  
сапожный сор  
и целых тридцать дней  
а потом что-то сказал о твоей матери  
плохое  
И ты вскочил и обрушил на голову этого сверстника своего  
большой сапожный молоток  
Ты всегда худой был, но руки у тебя очень сильные были  
— Что тебе за это сделали? — я спросила  
— Ничего, — ответил ты, — я не думал, что убью его  
— У меня была мать, а у парня этого не было никого, —  
сказал ты  
Вот так ты сделался единственным убийцей  
которого я видела живым и всегда говорила  
с ним, с тобой  
а не то чтобы прочитать в книге или посмотреть в кино  
И других живых убийц я не хотела бы видеть  
Ты так и не научился не сумел стать сапожником  
Лет восемнадцать ты прожил не зная  
что такое статуя или рисунок  
И никогда не привык воспринимать живопись или скульптуру  
Однажды ты сказал: «Все люди порочны»  
и улыбнулся непонятно  
И я спросила тотчас: «А ты?»  
Ведь рассуждая логически — если все, то ведь и ты  
А ты не пользовался логикой,  
которую вычитала я из книг  
девятнадцатого и двадцатого века  
Ты всегда-навсегда оставался в пространстве наивном  
и прямом  
Франсуа Вийона и Рабле  
где возможно было всегда оставаться правым,  
а другие чтобы всегда оставались неправыми перед тобой  
И поэтому ты ответил: «А я — нет»

И вот из этой готики жидовского городка  
изгой  
пройдя до какого-то места земную жизнь  
ты заблудился в пасмурном скучном лесу двадцатого века  
И всю оставшуюся жизнь пытался притвориться,  
будто что-то понимаешь  
Из этой готики жидовского городка  
в глухой Галичине  
куда не заглядывали чиновники Австро-Венгрии  
двадцатый век  
словно какой-то деус экс махина  
перенес тебя в мир, где ты увидел  
трамваи звенящие и лампы электрические  
и так и не смог научиться есть вилкой  
Ты много читал вслух  
как будто мне  
а на самом деле — себе самому  
Ты ничему не мог научить меня  
да и не хотел  
Я просто слушала, когда ты читал  
А ты говорил странные слова  
мне говорил:  
— Сиротой останешься Нет никого Прочитала страницу —  
дай критику...  
И однажды я купила на улице  
твою любимую книгу  
Собор Парижской Богоматери  
книга лежала среди других старых книг  
на каком-то грязном покрывале  
постеленном прямо на асфальт  
и это было то самое издание  
так дешево теперь стоило  
так мало денег  
Я держала книгу на обеих ладонях и слышала твой голос,  
искаженный туберкулезом горла

Я захотела вспомнить и вспомнила  
страшный хрип горла  
съеденного туберкулезом  
уткнувшегося в книгу человека  
Ты не мог разобраться в таких сложных русских ударениях  
слова произносил как придется  
не задумываясь много  
«Эсмеральда», — произносил ты,  
как певец Гару́  
Я раскрыла книгу и прочитала тихо  
с такими совсем правильными ударениями:  
«Триста сорок восемь лет, шесть месяцев и девятнадцать  
дней тому назад  
парижане проснулись под перезвон  
всех колоколов...»  
Так вдруг протянулась для меня линия,  
на которой были связаны друг с другом,  
как бусины большие на шнурке,  
нечаянное убийство, средние века,  
«Собор Парижской Богоматери» — то, давнее издание,  
певец Гару́, моя память о тебе,  
Андрей, Маша  
белый мусульманский платок бабушки, маминой мамы  
и самая большая бусина замыкала круг черного шнурка  
она была —  
Франсуа Вийон!  
И тогда Осаму Дадзай  
красивый грустный про́клятый  
приплыл на волнах нарисованных  
большого красного альбома Хокусая  
и говорил своим рассказом  
говорил:  
«Жена Вийона»  
потому что знал:  
должна быть, была женщина...

она была...

Я перелистнула еще несколько страниц и прочитала:

«Из глубины деревянного сооружения слышались звуки  
высоких и низких музыкальных инструментов,

ковер откинулся.

Из-за ковра появились пестро одетые фигуры.

Оркестр умолк. Мистерия началась».

## *Второй лист*

### *Моя Вийонада*

*Фильм-спектакль*

*Милой Маше Ходаковой  
доброму товарищу Александру Воловику  
и памяти Ольги Гурьян и Михаила Дидусенко*

У меня Ворон прозвание

за черноту

смуглый очень

как многие наши

булгары

лет двести как пришли из тех земель

где солнце жарит подолгу в году

Мы здесь живем

потеряли свои имена, книги, слова разные

не поддерживали ни бургундцев, ни арманьяков

Знаю только три слова про нас — тюрк, бугр, булгар

Это я —

тюрк, бугр, булгар...

У Катерины родных много было

умерли от большой чумы

пока с матерью не осталась

потом одна

Ворон

за черноту

Я черный

волосы

глаза

лицо такое

очень смуглый



черномазый  
Меня еще называют Ворон с холма,  
потому что я виселицы боюсь,  
той, что на холме,  
на горке Монфокон,  
это я часто говорил,  
что боюсь виселицы  
боюсь на горке Монфокон очутиться  
повиснуть на большой виселице  
среди полсотни бедняг  
на трех больших ступенях большой виселицы  
на виселице  
Большая высокая страшная виселица  
на очень много человек  
Мое другое прозвание Привратник,  
потому что стоял на стреме при одном грабеже  
только при одном  
стоял на стреме  
сам не грабил  
Но больше всего называюсь Горожанин  
по дядьке Гийому  
капеллану в Сен-Бенуа-ле-Бетурне  
Только не был со мной ни в каком родстве  
а взял меня восьми лет в услужение  
мать отдала меня  
я разжигал огонь в очаге  
зажигал свечи  
пел в хоре  
научил меня катехизису, французской грамматике  
и началам арифметики,  
а также и латынь с ним начал учить  
Его прозвание Горожанин  
Я называюсь Горожанин  
по дядьке Гийому  
который любил меня как мать родная

сами разберите, как!  
В смысле — ласково-преласково  
И впрочем это конечно же всё лживая хрень  
с моей стороны  
А дядька Гийом Вийон был добрый человек  
по прозвищу Горожанин  
то есть местный  
из города Парижа близ Понтуаза  
а не какой-нибудь понаехавший из Пуату  
или из той земли,  
где солнце жарит подолгу в году  
И это всё, что я могу рассказать  
о моих прозваниях  
И языка птиц я не знаю,  
потому что мой отец не был птицей  
Вот сидишь на полу с тетрадкой на коленях  
поджав под себя ноги  
Я умею разбирать разные тексты и строить силлогизмы  
Жег свечу  
«Роман об Александре» читал  
И тут вдруг весна и лето пришли  
И тут вдруг Париж весь пошел навстречу  
то быстро,  
а то вдруг неспешно  
И сборщики налогов ходят  
переписывают всех в городе Париже  
И Марго толстая, нарисованная толстыми красками  
на вывеске жестяной,  
как спрыгнет вдруг с вывески этой  
как нацедит пива из новой бочки  
в глиняную кружку расписную неуклюжую  
Гоняли на берегу мяч  
хороший краденый  
из сафьяновой кожи  
И шатались по городу

пошли на виноградник Брюно́  
там еще молодого напились вина —  
пино, фьер, мюскадо, бикан, фуарар...  
Ну и жители! — что делают! —  
раскидали сор вонючий по всем кварталам —  
пройти нельзя!  
А я всех знаю в Париже-городе  
по именам и прозваниям и ремёслам-занятиям  
и могу о каждом что-нибудь такое,  
чтобы смеялись над ним  
И по Жидовской улице прошелся  
там ведь тоже бабы живут!  
И однажды Панург напоил нас всех и повел  
к Наваррскому коллежу  
который потом ограбили, а я стоял на стреме,  
но это потом было,  
а тогда  
одну тележку мы пустили под горку  
прямо под ноги ночному дозору  
они все и покатались  
А мы ставили пьесу  
мистерию с чертями  
все чертями нарядились  
и лошадь ризничего Пошеяма как помчится  
и у него мозги в одну сторону  
а голова совсем в другую сторону  
а ноги и руки совсем в четыре стороны  
противоположные  
И ну-у!  
И тут у него и все кишки размотались  
А я кричу что есть мочи  
и срывая горло  
кричу:  
— Славно, черти мои! Славно!  
А Панург насыпал чего-то профессорам в Сорбонне

и все чихают  
а некоторые даже умерли от плохой болезни,  
но не потому что чихали!  
А женщинам тоже чего-то в платья насыпал,  
чтобы все собаки прибежали,  
потому что все кобели подумали, что у женщин  
течка началась  
Так стыдно, так стыдно,  
что даже и умерли некоторые,  
и тоже от дурной болезни,  
а не потому что течка началась как будто  
А Панург бздел как жеребец  
а разные красавицы спрашивали, смеясь:  
— Чего это вы пукаете, Панург?  
И столько всякой потехи  
Я написал углем на стене старой церкви  
Сен-Бенуа-ле-Бетурне «Катерина-подстилка»!  
Я все дома, все стены там исчеркал угольком —  
«Катерина-подстилка»  
«Катерина из таких-сяких»  
«Катерина из этих самых девок-подстилок»  
так я писал на стенах  
все стены исчертил  
И это была совершенно лживая хрень, конечно  
А она едва завидит меня  
грозила кулачком и материлась  
Мне было четырнадцать лет, а ей двенадцать  
Все стены исчертил  
будто назло самому себе  
Я дразнил ее, потому что влюбился,  
и она знала  
А я видите ли был стыдлив  
и потому и писал именно так  
покамест не решился наконец  
и тогда однажды вывел большими кудрявыми буквами

на стене моей школы свободных искусств на улице Фуар:

«Катерина — моя роза»!

И на берегу под вязом я схватился руками за ветку

подтянулся

качаюсь

длинные большие ноги тощие

в новых чулках

А Катерина смеется

А потом случилась одна моя одинокая зима

одно мое зимнее одиночество

когда повешенные дергались под ветром в петлях,

как будто плясали,

а воздух как ножом резал при вдохе горло и легкие

и я кашлял и выхаркивал бурое кровавое на пальцы

занемевшие

и не на что было купить вина

А плащ хороший с подпушкой меховой

с капюшоном был

я в кости проиграл Нику-целестинцу

и шел в куртке на голое тело

и знобило меня от холода

Я был один

Столько народу предало меня

Я пошел к ней

поплелся по морозу к моей Катерине ...

Ka-aterine collaudemus...

Бедная девушка, прядильщица шерсти на прялке

ни мяса, ни вина,

ни медного таза, чтобы она хорошенько ноги мне помыла

И сальная свеча только одна

Катерина тогда жила в переулке

Требушином, конечно

Там две перекладины между двух домов были протянуты

и доски прибиты к ним

и такая вонь от этого нужника,

но зимой ничего  
Катерине хватало денег только на эти желтые грязные стены  
там кровля шла покато  
и в щели между черепицами сквозило страшное  
холодное небо  
Мэтр Оноре любил рассказывать про такие трущобы  
Катерина встала передо мной  
в платье из некрашеной грубой шерсти  
одна сальная свеча горела  
Каморка похожая на ту, где я жил у дядьки Гийома  
только не было толстых книг  
и в поставце одна тарелка и две чашки  
и сундук резной пустой  
и под пологом кровать плоская такая и твердая  
и тюфяк совсем истончился  
Что-то такое мне говорил Каркó  
И последние дрова она извела, чтобы нагреть воду  
Она мыла меня в кадке  
выстелила кадку простыней белой  
Она вытирала мою голову полотенцем  
Я шатался от слабости подошел к столу  
и увидел  
на непокрытой шершавой столешнице  
возле подсвечника оловянного простого  
лежало глядя в потолочные балки  
круглым глубоким взглядом  
Катеринино зеркало, маленькое  
с ее ладонь  
такое металлическое  
блестевшее туманно  
Я прислонил зеркало к подсвечнику  
свет сальной свечи лег пятном  
Я сел за стол  
на скамью жесткую  
растопырив локти на столешнице и наклонив лицо

в маленькое зеркало

я увидел свое лицо  
впалые щеки и жидкие черные пряди волос  
было видно, как бьет меня лихорадка  
я увидел тяжелые веки  
улыбнулся недобро  
складки резкие вокруг тонких бледных губ  
обметанных лихорадкой  
совсем почернели глаза  
и увиделись мне узкими

Робер-Луи сказал как-то, что в моем лице волк  
со свиньей борются  
но я ничего такого не вижу в своем лице  
не нахожу

И подошла босая Катерина

тихо  
и села рядом со мной  
охватила мои щеки ладонями теплыми человеческими  
сильно отвернула от зеркала мое лицо  
и стала целовать мои щеки и губы и глаза  
чтобы мне сил набраться

И застелила стол  
потертым ковриком из красной саржи  
и поставила деревянную тарелку с одним ломтем  
ржаного хлеба

для меня

и еще чашку с чистой водой

Больше ничего у нее не было

И она стояла напротив меня

опершись руками о столешницу

— Только пошила новое платье, — сказала Катерина, —

а уже бургундцы, арманьяки, непонятно кто

— Да, — сказал я, — Латинский квартал бунтует

хотят всего

хотят убить убить убить

кричат:

«Выкинем еретиков-бугров из Парижа  
останемся без них и заживем прикольно  
в Телемской обители!»

кричат

И не успеешь ты надеть новое платье, — сказал я, —  
а уже город Париж переходит под  
юрисдикцию чью-нибудь

каких-нибудь бургундцев  
и вместе со всеми своими пирожками

А народ бежит  
человек из народа пуглив  
ищет защиты у самого сильного  
всех ненавидит  
повсюду видит  
врагов,

и убивать любит,  
когда позволяют ему, —  
сказал я

— А какую власть ты хочешь? — Катерина спросила

— Мне все равно, — сказал я, —

потому что я все равно пропаду

Я хочу карнавал

и фактически я хочу любую власть

потому что только у власти можно просить пощады  
те, кто бунтуют, не пощадят

Я медленно доел хлебный ломоть и смотрел на ее

смутное в свете свечи лицо

Сквозной ветер легко задувал в каморке

платье из грубой шерсти уже болталось на вешалке  
она стояла в одной полотняной рубашке

такая круглая светлая грудь из ее рубашки

порванной слева, где сердце

И поутру, на темном рассвете

я повернулся на правый бок и крепко обнял ее со спины



она заснула спиной ко мне  
устала  
я засунул свой утомленный хуй в ее милую пизду сзади  
прижался низом тощего живота к ее нежной заднице  
обхватил крепко-накрепко, цепкими, узловатыми,  
как веревки, пальцами  
ее крепкие маленькие груди  
так мы лежали голые  
душа в душу  
и ее длинные распутившиеся волосы  
щекотали мои щеки впалые  
тонкими золотыми нитями...  
А потом случился начался карнавал  
Ну прямо Бахтин-Гуревич-Реутин  
Черт знает что творилось на грязном затоптанном снегу  
в эту пасмурность  
зимние коляды  
праздник дураков  
кулачные драки стенка на стенку  
убийство чудовищной Зимы-Смерти  
таскали на площадях разорванный кровавый саван  
и деревянный хуй  
всех подряд избивали убивали  
кидались говном  
рушили дома  
И фигня какая-то  
нарочно сооруженная воздвигнутая  
рухнула вдруг  
а там были какие-то девки и беременные шлюхи  
Я помирал со смеху  
Катерина плевалась  
А было холодно...  
А потом Катерина пряталась в комнате сидела на скамье  
той самой  
И было уже тепло в комнате

А я уходил

— Ты вернешься? — спросила она —

Я тебя, — сказала, —

совсем не понимаю

Никогда не говоришь серьезно, — сказала, —

а всегда как будто смеешься, даже издеваешься как будто

И сказал бы что-нибудь серьезное,

что любишь меня

Ответил тогда:

— Понимаешь, Катерина, я в традиции

в определенной

Ты что,

хочешь, чтобы я тебе написал «Роман о розе»?..

«Роман о розе» читаю и читаю

люблю читать «Роман о розе»

перечитывать

Все из него натаскали строчек

Ну и я!

А сколько я у Дешана стащил...

— Да ничего не пиши, — говорит Катерина, —

писать и я умею

Ты просто скажи

Ну, я облапил ее

обнял

чмокнул в губки

Пляши пляши веретено

Пряди пряди Катерина

Смастери красные теплые чулки на мои длинные

красивые ноги...

Ты спрашиваешь, почему я такой мрачный?

Дай-ка я выйду на полчаса, потом отвечу.

Есть два венца — мученический и брачный.

Оба вбивают голову по плечи.

Да Бог бы с нею, известно, что стоит разум.

Лишенный сердца, он ничего не стоит.

Просто школу души хочешь закончить разом,

Чохом сдать за весь курс — и ты уже стоик.

А они мешают — венцы́, говорю, мешают.

Ладно, пошел...

Приехал в Блуа подвезли на повозке

А там какой-то замок турнир поэтов

Замок, то есть замок Блуа

окошки стрельчатые

башни круглые

башни ребристые

башни острые угловые — четыре

и в большом зале, где устраивают приемы, — арки

и еще разные колонны

и рукава герцога вышиты жемчужными нотами

перья оранжевые на придворных шляпах...

Ничего не получил

Ну, не нужен Орлеанскому герцогу такой

придворный поэт

И не надо

И он и сам поэт

конечно

и это правда

И всех нас кормили ужином —

пирожками с ливером

и пивом напоили

угостили телячьим паштетом —

не хуже чем на улице Косонри

Только стоять надо было —

- никаких скамеек

И на хер мне сдалась ваша деревенская жизнь!

Ни за что не буду там жить

Идите на хер со своей любовью к природе!

со своим Франком Гонтье со своей дурой Еленой

«Луара — самая революционная река в мире!» — скажет

Жан Батист Каррье

и поплывут на рыбий корм  
поповские туши  
и пустые головы дворянчиков  
срезанные быстрым ножом гильотины!..  
Но это когда еще будет!..  
А пока  
Чтоб не страдать превыше меры,  
Осталось мне одно: бежать.  
Прощайте!..  
Ну просто ничего не остается  
кроме как пограбить куда-нибудь что-то кого  
И только остается  
ограбить что-то куда-нибудь  
Всё было по-честному  
отдали мне мою долю  
И затем  
наняли мы с Катериной хорошую комнату  
в доме под вывеской «Лисий хвост»  
Я заплатил арендную плату за целый год  
Катерина с утра вымела сор и вымыла пол  
свежо стало  
и подушки и ковер перетряхнула  
Я купил хорошую кровать с новым пологом  
и покрывало дамасское льняное и четыре новые простыни  
Я накупил Катерине подарков —  
поясок, застежку с серебряными зацепками,  
коралловые четки, серебряную ладанку  
и атласный воротник с беличьим мехом  
А еще я купил хорошие шахматы  
позолоченные  
и мы с ней играли вечером  
Я выиграл  
поддалась, наверное  
И легли опять голые  
головами на зеленую хорошую подушку

я перекатился на простыне  
обнялись

вдоволь нацеловались

долгое поле отмахали

так и заснули —

Катерина правой рукой обняла меня за шею горячую

а левой держала мой хуй увлажнившийся, мокрый

А в полдень я сел за книжный налой

сiju на табурете

по доске верхней развернул чистую бумагу

сбоку на полочке поставил чернильницу и песочницу

макаю стило — пишу

ВОТ ЧТО:

En mon païs suis en terre loingtaine

В своей стране я в далекой земле

В своей стране я в далекой земле

В своей стране я в далекой земле!..

En mon païs suis en terre loingtaine...

А теперь простите, это я вдруг пришла

та, которая написала много здесь всего

И вот что я вам скажу сейчас:

кто читает по-французски,

прочитайте, пожалуйста, вслух эти стихи

и я сейчас же уйду

Пусть он остается...

Mais ou sont les neiges d'antan?

Icy se clost le testament

Et finist du pauvre Villon.

Le lesserez la, le povre Villon?..

Bien recueully, debouté de chascun.

Давайте рассуждать: века,  
Что я стихи пишу,  
Меня вела моя рука,  
А я за ней спешу...  
Жил первый бомж по имени Адам,  
И с ним жила жена его, бомжиха...  
На этот раз не дай сойти с ума,  
В конце концов, оно тебе же лучше:  
Туда, где снег, туда, где снег и тьма,  
Я был тебе единственный попутчик.  
Вот и сегодня осень на дворе,  
И входим мы, вползаем в эти грязи...  
Ну, хочешь наскрябаю на коре  
«Адам + Ева» в самом первом разе...

И полдень прошел  
Катерина не мешала мне  
День вечер ночь  
Утро наступило  
Разжег в очаге огонь  
    пальцы вытянул к огню  
        согрел  
Колокол Сорбонны зазвонил  
    отложил перо помолился Богоматери  
Тут и весна  
    и опять лето пришло!  
с началом масленицы  
    с кабаками  
    с деревом дураков с жизнью по естеству  
с карнавалом опять с драками с Троицкими днями  
с Рождеством и Успением Богоматери  
Я надел новые штаны  
    полосатые красно-желтые  
куртку на шнуровке и с разрезами по моде по бокам  
красную поверх новой рубахи

и маленькая синяя шапка на темени  
А Катерина надела новое зеленое платье из тонкой шерсти  
с парчовыми вставками блестящими  
распустила волосы  
и завязала на затылке шелковой красной лентой-корделой —  
сияли-сверкали на солнце волнистые  
ниже плечей  
Разгуливался народ по кладбищу Невинных  
по месту гуляний излюбленному  
И мы бездельничали шатались в обнимку  
разглядывали фигуры пляшущие хороводом в пляске  
смерти на стене часовни  
я покупал Катерине всё подряд —  
вышитые перчатки, ленты, серебряные серьги  
Мы по очереди кусали большой пирог со свиной —  
один на двоих  
и слизывали с губ текущий жир  
и хохоча вытирали друг дружке подбородки  
засалившимися краями широких рукавов  
И пошли кататься на лодке  
а девчонки сидели на высоком берегу  
удили мелкую рыбешку  
тонкие удочки  
вода голубая темная  
Старый головной Катеринин платок разостлали  
вместо скатерти на траве мягкой  
низкой  
и ели хлеб с брынзой и снова пили вино  
Бйбит бйбит бйбит  
In taberna quando sumus  
и сразу два вина выпили, сыр поели  
и  
танцевать!  
А я обул башмаки новые щегольские — каблуки высокие —  
в каждом каблуке — по бубенцу —

и звенят  
И начинается танец!  
Встали в круг  
все схватились за руки  
вскинутыми высоко руками  
и  
наступаем вперед все вместе  
все вместе посолонь — к солнцу —  
разомкнутым хороводом  
и  
все поём:  
— Что приходишь так нечасто, изумруд зеленый мой?  
Приду в саду твоём гулять я,  
жемчужина моя!  
и  
пьем кламарское вино и медонское вино и  
ванвское вино  
Протанцевали круговую каролу  
протанцевали гальярду и фиссе  
И снова пьем вино из кубков оловянных  
Пляшем дальше-больше!  
Барабан большой даву́л — бам-бам — дин-дан-дан —  
Tempus transit gelidum — бам-бам — дин-дан-дан —  
Vache, bene venies — бам-бам — дин-дан-дан  
Tempus est iocundum — бам-бам — дин-дан-дан  
А гитара —  
Clauso Cronos —  
Тюрлюрет! Тюрлюрю! —  
И тут вот и я —  
фью-у!..  
Ах, Катерина!..  
Ну, она меня и понимала  
всегда-всегда...  
И тут вот и праздник —  
день Corpus Domini



по городу целый день ходят процессии  
корзину вишен купили мы на десерт к ужину  
Пожрали празднично  
солнышко еще не зашло  
а на краю улицы как раз возле того дома с башенкой  
камень большой плоский  
такой — вроде скамьи  
ну, мы там любили сидеть иногда по вечерам  
сидим отдыхаем после ужина  
Катерина взяла на улицу прялку  
просто чтобы руки занять  
пряла попросту по-деревенски  
Exiit dilucolo rustica puella  
тра-ла-ла-ла-ла  
И тут вдруг идет поп Сермуаз  
и говорит мне без вежливости  
— Наконец-то, — говорит, — я вас встречаю,  
мэтр Вийон,  
хрен вы крокодиловый мать вашу  
Блин! Я же тебе объясняю!..  
Но ничего не объясняет..  
А я ему тогда говорю, что он сам такой и мать его такая  
И не даю ему рта раскрыть  
объясняю сам  
— Ты посмотри, — говорю, — как я отношусь ко всей  
этой — тоже блин! —  
культурно-поэтической традиции!  
Я же всегда играю!  
Я же все пародии пародирую!  
Все каноны пародирую!  
Но это ведь тоже такой канон — пародировать каноны!..  
И тогда Сермуаз мне наконец отвечает:  
— Всё! Запутал на хрен!  
А я тоже за словом не лезу в пустой кошель на поясе —  
отвечаю сразу —

— Меня понять надо! — говорю я ему. — Пусть не  
делают из меня каких-то Рембо и  
Бодлера!

Меня надо понять в контексте моего века, моего времени!..

А Катерина прялку положила на камень  
оперлась растопыренными пальцами о колени,  
что круглятся под платьем зеленым  
подалась ко мне  
слушает

и прядь волос выбилась из-под косынки, повисла вдоль щеки  
она и не заметила —  
потому что я говорил

А я говорил так серьезно,  
что и сам не знаю, кто меня поймет

А Катерина меня чувствовала  
так просто

И тут вдруг — в продолжение спора —  
Сермуаз спрашивает меня —

— Ты что, — спрашивает, — даже и мать твою  
не уважаешь,  
не любишь то есть?

— При чем тут мать? — я спрашиваю.

— При твоей личности! — он отвечает.

— Мать! — говорю я. — Во! Если у старухи не хватает  
пяти зубов — точно! — моя мать!

Я ей денег занес в богадельню. Сто лет с ней не видался.

Скоро помрет

или не помрет

Я ей денег дал

Мать моя на смертной кровати  
ждет бедненькая смерти

И сам я не бессмертен тоже

И отец мой умер

И нечего, — говорю я, — в мои стихи лазить

за сведениями обо мне!

Я вам хуеву тучу имен перечислю  
я люблю именами играть  
как будто перекидывать в ладонях как будто  
мелкие такие камешки

Но я всегда вру,  
потому что я поэт все-таки  
У меня чем больше вранья, тем больше правды  
Моя правда — это вранье!  
— А как же, — он меня спрашивает, — правда судебных  
документов?

Тут я быстро нашелся:  
— Они судят меня, но понимают ли они меня? —  
говорю ему.

И, может, меня Косиков лучше понимает! — говорю.  
— Это что? — спрашивает Сермуаз. — Творчество такое?  
И никакой личности поэта нет? Сплошные  
канонические образы и темы...

А я отвечаю вот что:

Я по канонам пишу, — отвечаю я, —  
И я пишу не для того, чтобы исповедоваться  
Стихи — не исповедь

Я по-другому не умею писать  
не по канонам то есть

Все поэты пишут по каким-нибудь канонам  
И среди традиций и разных правил и образов  
спрятана моя личность  
там спрятан я!

Но я — ведь это тоже куча разных традиций  
и разных правил,  
по которым надо сочинять, писать стихи

— И неправда твоя! — говорит Сермуаз. —

Многие как раз лирическую исповедь пишут!

— Значит, это канон такой, — говорю я, —  
лирическая исповедь называется  
Понимаешь, у меня горячка

я нервный!

И не ждите, чтобы я себя жалел на потеху вам!

Голую жопу читателям не показывай! — вот лозунг  
мой и солнца!

И спрашивает Сермуаз:

— Ты зачем про церковь пишешь разную лживую хрень?

— Нет! — кричу я. — Это не лживая хрень,  
это правдивая хрень!

Это всё тоже в традиции! Это карнавальная культура!

И не надо из меня диссидента делать

И нечего!..

А Катерина хохочет

запрокинула голову и хохочет  
шея нежная такая светлая

Ах, Катерина

Я схватил ее и целую в губы!

— Что сейчас будет!.. — говорю

А она говорит:

— У тебя губы сладкие,  
как будто земляничные ягоды  
так сладко душисто прижимаешь к моим губам...

— А я вас не отпускал! — говорит Сермуаз почему-то

Тогда я отпускаю Катерину и говорю ему дальше

— Я играю всегда, — говорю я ему, —  
и потому

я никакой не умирающий от несчастной любви школяр  
и нищий школяр — тоже не я

и никакой не гуляка-школяр

И я бы рассказал другое что-нибудь

но как рассказать,

чтобы не вляпаться в какой-нибудь новый канон,  
как в дерьмо собачье!..

А этот гад перебивает меня

— Ври дальше! — говорит

и ухмыляется скотски прямо мне в лицо

и говорит вот что:

— Всё это, — говорит, — скучно! — Всё это бахтинизм  
тривиальнейший Славой Жижек

А я ему сказал:

— Ах ты, сука!

И я вижу слышу:

серьезный диспут получается

— Иди домой, — приказал я Катерине

Она помедлила, но все-таки пошла  
послушалась

И больше никогда я не видел ее...

— Это правдивая правдивая хрень! — кричал я Сермуазу

Я вскочил

А он...

О! Сука! Губу мне рассек...

Убью на хрен!..

Так я кричал

И тоже ударил его —

ударил кинжалом,  
как он меня...

Ну, я его слегка только ранил

а у меня кровь на шею текла

рубашка промокла на груди

А он ко мне — с кинжалом

А я побежал в церковный двор

там церковь

Святого Бенедикта что ли

не помню

Он за мной с кинжалом

Я не помню, как по-быстрому нагнулся

камень схватил и кинул

поп свалился

Мне потом сказали, что мертвый

Я ему в голову попал оказывается

Конечно, я не хотел убивать

кому в тюрьму охота!  
Бегу к цирюльнику — губу чинить  
а тот сразу — Как прозвание?  
Я и говорю: Мутон, блин!  
Баран-Мутон прозвание  
А кровь уже так и хлещет  
А он меня узнал  
и заложил  
парня своего послал в караулку  
И меня взяли  
Началось цапцарапово правосудие  
и мне сразу сказали,  
что я не выйду из тюрьмы,  
то есть выйду, но только на виселицу  
И тут и юрисдикции разные набежали  
как всегда  
И каждую половину дня какие-то новые законы пердят  
в Париже этом нафиг!  
И сейчас же явилось цапцарапово правосудие  
пушистых котов  
Сейчас же явились юрисдикции всевозможные  
и пошли и пошли себе  
волоча гордо шлейфы на каменных полах судилища  
вскинув гордо головы в шапках высоких рогатых  
всевозможные юрисдикции  
Ну, я в ужасе просто  
уже французская юрисдикция в Париже  
и, значит, все получают возможность поплясать в петлях  
в дружеской компании  
на большой виселице Монфокон!  
И сразу все задницы узнают,  
сколько весят их шеи!..  
Катерина просила за меня  
всё продала  
деньги им дать хотела

Они мне рассказали и говорят:

— От бугров-еретиков ничего не берем.

Запрещено брать.

Вдруг бескорыстные стали

— Ни денежки-беляшки, — говорят, — не возьмем

будем пытаться

и потом повесим

Тюремщик гремит

ключи громадные

сапогами топает

Меня ведут пытаться

Когда же мы повернули назад, то оказалось, что дверь

заперта,

и тут нам сказали, что войти-то сюда легко,

как в Аверн,

а выйти трудно,

потому что с ярмарки уходят не так скоро, как

с базара, —

всем рассказывал доктор Панург

в переводе Любимова

и продолжал:

— Совсем, однако ж, худо нам пришлось,

когда мы попали в застенок...

Ну, дальше он там разную интересную хрень рассказывает,

но это не про меня он рассказывает

Я попал в застенок

И сначала просто допрашивали

Я даже подумал, что, может быть, и не будут пытаться

понадеялся

потому что сначала просто допрашивали

Цапцарап мне говорит:

— А между прочим, дело об ограблении

Наваррского коллежа еще не закрыто

И назовите, пожалуйста, фигурантов...

Но я никого не выдал

Я вообще и не знал, где они все,  
где каждый из них  
А если бы знал, то, может, и назвал бы  
но не когда просто спрашивали,  
а уже когда пытали...  
В тот же день епископ Тибо д'Оссины приказал  
поднять меня на дыбу  
Ой! — Не надо пытаться пожалуйста простите —  
король —  
какая сегодня юрисдикция уже сейчас —  
И даже и не думал никогда никому — Ой! —  
что я умею — Ой! —  
так вопить, орать, визжать! —  
Ой!..  
Тибо д'Оссины епископ велел водой меня пытаться  
Знаете, как это —  
когда тебя пытается сам Шарль де Ко...  
Меня раздели и привязали к скамье  
покрыли мокрой простыней мое тощее нагое тело  
палач поднял скамью  
стали вливать мне в горло горячую воду  
и влили так много, что я разбух весь  
тогда палач опустил скамью  
и вода полилась у меня из всех отверстий телесных  
Я молчал на все вопросы  
Меня отвязали  
Я уже ничего не говорил  
только колотил себя в грудь обеими руками от такой боли,  
после которой уже молчишь  
и всё — всё равно  
Я в камере девять часов в обмороке пролежал на соломе  
в кандалах  
И я ему — епископу — не крепостной!  
А вы спрашиваете, почему я пишу всё правдивое  
о церкви?



Потому!

Потому что ...

Пусть он горит в огне адском

Я его не прощаю!..

Сделали суд

веревку мне на шею накинули петлей

затянули

дергают

я задыхаюсь

молчу

писец записывает решение

Там у них над судейским креслом олицетворение

цанцаранова правосудия висит —

картина —

ихняя Фемида —

старуха в очках с двойными стеклами,

чтобы поменьше беспристрастности

и держит весы

два кошеля на весах

один кошель полный, другой — пустой,

в смысле, что еще надо в него деньги положить

Но от бугров-булгар они денег не берут

а только пытаются и потом вешают

Они вообще судят меня совсем не за то, что я тогда

стоял на стреме,

и не за какое-то случайное убийство,

а за то, что я тюрк бугр булгар!..

Ослабили петлю

отвели назад в камеру

Теперь надо было ждать,

когда позовут на виселицу

И знаете, если человека повесили уже,

то уже не надо издеваться над ним

обличать его

и желать ему сгнить и чтобы вороны выклевали

ему глаза мертвые

Хватит!

Пожалейте его, меня

Вас тоже, может быть, повесят

на большой виселице Монфокон...

Я как зверь сделался —

одна только жажда выжить

и ничего больше...

Одно прошение о помиловании

два прошения о помиловании

три прошения о помиловании

Я их писал одно за другим

когда позволили писать

Ожидали проезда нового короля

выжидали

не знали,

будет амнистия или нет

Меня ведь всегда отпускали, в конце концов

Я писал однокурсникам

всем писал

умолял

просил заступиться...

Ну, отпустили меня

Могучий прославленный король новый

освободил меня милосердный король из тюрьмы

и смертную казнь мне заменили высылкой из города

Обо мне вспоминал ГерЭ,

за несколько лет пробежавший дистанцию

от веселого либерала

до клерикала,

который серьезно призадумался

И вот что писал ГерЭ обо мне

это интересно

и я не знаю,

похоже ли...

«Поэт был весьма невзрачный человек, высокий,  
стройный, хрупкий, — писал ГерЭ  
обо мне, —  
и далее — обо мне —  
магистр чего-то  
в университете учился  
прекрасно, лихо играл на лютне-зумбюле —  
настоящий bougre,  
bulgare то есть  
но не содомит —  
нравился женщинам,  
разным там прядильщицам, шляпницам и ткачихам,  
из тех, что вечерами поздними  
пьют сладкое вино в тавернах  
и зовутся «честными давалками»  
какое-то время шлялся с бродячими клириками —  
ставили на Пасху «Игру о святом кресте»,  
но был изгнан из труппы за непомерный  
даже по их меркам  
загул  
Он был тяжеловат во хмелю и что-то такое порой  
мелькало в его глазах,  
мрачное и пуганое — стреляный из пращи воробей  
Стихи его и тогда уже были очень хороши,  
но поразил он меня не стихами,  
а редкостным умением отваливать в сторону  
перед самым началом драки  
или появлением стражников  
но подобное бегство перестало ему удаваться  
в дальнейшем  
И еще я помню застольные разговоры, когда он  
под шумок глушил морийон,  
продиравший даже луженые глотки,  
и насосамшись глядел высокомерно  
но говорить уже не мог ничего

Его стихи были много лучше его замашек  
Всю свою жизнь он носился по кругу —  
Париж — Блуа — Пуату  
Он плавал в парижской разрухе как рыба в воде  
по-мальчишески обожал рынки, прилавки,  
заброшенные домишки  
любил посиделки под что-нибудь кисло-соленое  
и всегда хитроумно выкраивал в свою пользу  
лишние полстаканчика  
В этом смысле всегда был немножко жуликоват  
Помыкавшись между Парижем и Блуа он осел  
в дальней местности Расторгуево  
после освобождения из тюрьмы в Мён-сюр-Луар  
по случаю проезда нового короля  
Людовика XI  
Поэт растворился в местном пейзаже,  
наспех слаженном  
из привокзальной площади, торговых семечками,  
помоек и бомжей  
вместо парижского Большого моста, новой шляпы  
и знаменитых пирожков  
Откуда у него взялась отвага для такой нечеловеческой  
жизни?  
Он просто шел за своим призванием  
как привязанный  
И предпоследний раз я видел его в богадельне  
он сидел у изголовья своей матери  
шепелявой, скрюченной, выжившей из ума старушонки  
и тихо рассказывал ей сказку о Спящей Красавице  
Последний раз я видел его в морге,  
где он валялся с привязанной на ноге биркой,  
на которой нацарапано было:  
“неизвестный”»...  
Такая вот правда свидетеля моей жизни  
А теперь —

та самая пресловутая правда судебного документа:

«...рассмотрено дело, которое ведет парижский прево  
по просьбе магистра Франсуа  
Вийона,  
протестующего против повешения и удушения.  
В конечном итоге эта апелляция рассмотрена,  
и ввиду нечестивой жизни  
следует изгнать вышеозначенного Вийона  
на десять лет за пределы Парижа...»

И что ты искала душа-невеличка  
Птица-синичка?  
Ах, суета желто-черного цвета  
Очень заметна  
Знаю, что холодно, что же поделать,  
Тоже не белый...

И ничего и нет у меня здесь  
только волки гуляют зимой в пустыне холодных улиц  
только виселица Монфокон  
только снег  
только весна  
только трава на могиле Катерины  
и несколько желтых ярких цветков,  
которые раскачиваются  
под ветром весны  
Однажды моя Катерина играла в волан  
еще с одной девчонкой  
Маргаритой  
они перебрасывали друг дружке волан  
Катерина шалила по-девчоночьи и смеялась  
На улице было по-деревенски просто  
Мэтр Оноре сидел у двери своего дома  
и кивнул мне дружески...

Но нет, всё лживая хрень  
потому что ведь то, что оставили  
от Катерининого тела черви,

унесла подземная вода  
И нет!  
Далеко под землей  
унесла ее тело в зеленом платье  
подземная вода  
унесла в далекое царство подземного бога  
я положил бы монетку-беляшку на пояс ее платья  
но ведь старик Харон все равно перевез мою Катерину  
на поле подземных цветов  
Там ей хорошо  
она ждет меня  
сидит на каменной скамье  
прядет попросту, по-деревенски  
и напевает обо мне:  
— Ах, что мне делать?  
Как мне рассказать  
о том, о чем хочу я рассказать?  
Но я не знаю, как мне рассказать,  
и потому я ничего не расскажу...  
Она ничего не расскажет, да?  
А я поеду  
в кожаных штанах  
на высоком коричневом гнедом коне  
по узкой улочке  
И никакого Пуату, никаких монастырей  
а просто умру  
где-нибудь  
куда-нибудь  
на какой-нибудь  
дороге...

*Отрывки из стихотворений Михаила Дидусенко приведены по изданию: Михаил Дидусенко «Из нищенской руды». М., издательство Н. Филимонова, 2006.*

---

*Я благодарю Михаэля Поша, Марко Амброзини, Беттину Хоффманн, Раю Заимову, Л.Костова и Л.Йорданова, которые так или иначе помогли мне в моих изысканиях о судьбах болгар в Западной Европе.*

## *Третий лист*

### *Молитва, сложенная дочерью Вийона*

Я маленькой девочкой в лес забрела  
И долго там блуждала  
Я всё ждала ждала ждала,  
Пока оно не настало  
Сумрачный лес Я иду в пустоте  
и никто не смотрит на меня  
как будто я — ничто  
ничто как будто я  
так все идут  
чужие сыновья  
любовники мужа  
никто  
ничто как будто я  
Больше никогда никто не посмотрит на меня  
чтобы взять меня за руку  
чтобы захотеть быть со мной  
Куда мне деться  
когда всё время сердце у меня болит  
и не могу я в зеркало глядеться  
Я как в пустыне улицей иду  
клюкой дорогу тихо ударяя  
не добрая — не злая  
не горяча — не холодна  
совсем одна  
в цветах зеленых травах мая  
Меня как будто бы никто не видит  
старух ведь никогда никто не видит  
а только презирает  
ненавидит  
Я иду



в тоскливом доверчивом ожидании  
волшебного помощника  
в терпении у очага  
в молитве сложив ладони  
протягивая руку за подаванием на мосту  
в красной накидке в смиренной надежде на чудо  
Я иду  
Я страдала молча  
а теперь хочу я говорить  
хочу я плакать горько на глазах у всех  
судьбу молить:  
Отдай мне быстроту ног  
улыбку белых зубов  
Я хочу наливные руки плечи  
я хочу груди  
не толстые повисшие  
а крепкие как яблоки  
Я хочу  
Мне хочется танцевать бежать по берегу реки  
и чтобы золотые качели и чтобы сквозняки  
Я хочу всю ночь горячее вкусное тело мужское тело  
вскидывать голые молодые ноги на постели вдоль стены  
Почему это мы делаем это  
Потому что мы любовники  
Я снова опять хочу идти по улице в новом платье  
распрямившись  
и будто слыша веселую музыку —  
звучание взглядов радости  
на меня  
Я хочу!  
Так сделайте же это наконец  
я умоляю  
освободите меня  
от мучений тысячи мелких цепочек  
страшных колец

они врезаются в меня  
из них состоит жизнь  
Сделайте меня молодой и прекрасной  
сделайте мне зеленые глаза и волосы золотые  
Умоляю!  
в смиренной надежде на чудо...

## Лист четвертый

### Дочь Вийона

Конечно, я помню моего отца

Мне ведь было двенадцать лет, когда он умер  
Нет, я не помню, чтобы он пил

Он был очень болен и денег у него не было  
пил только на винограднике у Пьера Гиро  
И никаких женщин — это всё неправда  
он был совсем больной

уже и моей матери от него не перепало ничего мужского  
Сейчас мне больше всего нравятся его стихотворения,  
где жалобы и советы  
la belle Heaulmière...

Я знаю, — гробики старух бывают малы,  
Как гробики детей. Смерть, сумрачный мудрец,  
В том сходстве символ нам открыла небывалый,  
Заманчивый для всех больных сердец...

Только нет, это Бодлер...

Я знаю о книгах моего отца

И даже и две книги  
это были стихотворения, которые Джузеппе Д'Агата  
переписал и хранил  
и потом отдал Пьеру Леве

Пьер Леве издал книгу стихотворений моего отца  
или две книги

Нет их у меня

И не знаю почему

То, что отец сам, своей рукой записал, долго хранила  
но потерялось всё

во время жизни моей

А это всё новое, эти новые книги, печатные

Нет, я люблю переписанные рукой...  
Пьер Леве мог бы дать мне денег,  
но я никогда не просила  
Как можно деньги за стихи...  
А когда моего отца выслали из Парижа на десятилетний срок  
моя мать не пошла с ним в ссылку неведомо куда  
скитаться  
Она была вдовой с маленьким сыном, а мой отец  
говорил ей:  
— Оставь мальчика своей свекрови и пойдем  
со мной...  
Она не пошла и после он часто попрекал ее  
А она из-за сына не пошла  
А потом ей говорят: «Мэтр Франсуа вернулся»  
Отец вернулся из ссылки, чахотка мучила его  
Моему брату было четырнадцать лет и он уже учился  
в университете  
— Зачем тебе этот старый калека? — сказал он матери  
Моему отцу тогда было наверное сорок лет  
И он вернулся  
И она побежала к нему в одну плохую гостиницу  
Потом они обвенчались, потом я родилась  
Мой отец был равнодушен к моему брату, а брат  
не любил его  
Мой отец нечаянно убил человека, мне потом рассказали  
Сам он никогда ничего не рассказывал о себе  
Он всё еще сочинял стихи, но ничего не записывал  
А это были совсем новые стихи  
как будто его глаза уже заглянули в какое-то совсем  
другое время  
Иногда он сидел ночью за столом, глядя на свечу  
Моя мать просыпалась, садилась на постели и ругала его  
за то, что он напрасно жжет свечу  
Однажды у него была работа — он составлял  
и переписывал бумаги

но это было давно  
Это его бывшие однокурсники нашли ему такую  
работу — должность писца  
а теперь он не мог ничего писать, потому что  
у него болели глаза  
и он не мог бы исправлять эту должность  
но свои новые стихотворения он не записывал  
совсем не потому,  
а потому что не хотел не знаю почему  
И его глаза опухли и покраснели  
И часто моя усталая мать не говорила с ним спокойно,  
а только досадливым криком  
Но когда он уже не вставал, когда он заболел  
в последний раз,  
она долго ухаживала за ним —  
помогала мыться,  
кормила жидким супом — совала в рот ложку  
за ложкой  
и отодвинув его обеими руками к стене, выдергивала  
из-под него грязную простыню  
и стелила на тюфяк чистую  
И в его глазах стояла горькая вода слёз  
Но это всё после было, случилось  
А тогда, когда он вернулся, он сам нашел для себя работу  
его взял нотариус, мэтр Фламель  
отец ходил по его поручениям, разносил какие-то бумаги  
иногда оставался на всю ночь до утра — сторожил  
его контору  
и тогда я приходила вечером  
приносила в корзинке хлеб, сыр  
и бутылку козьего молока  
Мы ведь жили неподалеку  
я оставляла на столе всё, что принесла, и уходила  
отец почти не говорил со мной, он хотел быть один,  
и я не обижалась на него

Прежде он каждый день пил вино, а теперь — нет —  
болел  
да и денег не было  
Мать говорила, что ему надо пить козье молоко ...  
Мэтр Фламель платил ему, а мать отбирала деньги,  
когда отец не сразу ей отдавал  
Мать кричала на него, он хрипел и вытягивал  
руки перед собой  
ладонями вверх  
Дом, где мы жили, мать нанимала бессрочно у одного  
бакалейщика  
по прозвищу де Сеспи  
это был дом каких-то его умерших родственников, а он  
со своей семьей жил в другом  
доме  
Каждый год мать платила деньги за аренду  
И несколько раз отец тратил отложенные деньги —  
угощал приятелей в таверне  
Тогда мать кричала, что она не будет с ним жить,  
что она уйдет от него  
и меня заберет  
Она кричала, что приведет в суд свидетелей, которые скажут,  
что никакого венчания с моим отцом у нее не было,  
и нет между ними никакого брака, и я не дочь ему  
Так можно было по закону, можно было таких свидетелей...  
А я ведь так на него похожа  
всегда была  
и есть  
Но она его не оставляла, не уходила от него, и не шла  
ни в какой суд  
а только набирала много заказов и работала ночами  
при свече  
Она шила детские башмаки из мягкой кожи  
И однажды, когда она хотела отнять у него деньги,  
он озлился и ударил ее

кулаком в лицо  
Я увидела, как он сжал вдруг пальцы в кулак  
У нее кровь из носа полилась  
Ей это было неожиданно, то, что он ее ударил  
Я испугалась его  
А она села на табуретку у стола, прижала к носу  
конец головного платка —  
сразу промокший от крови  
и заплакала  
так беззащитно вдруг  
А он выбежал из дома и два дня не возвращался  
потом вернулся и еще два дня они делали вид, будто  
не обращают друг на друга  
внимания  
Но она ему наливала суп, ставила его тарелку на стол,  
и выстирала рубашку  
И ночью они помирились  
тогда он еще мог это...  
Я слышала, как он шептал громко, прерывисто и неразборчиво  
а она смеялась тихо  
и шорохи громкие были...  
Мама всегда вставала очень рано утром  
шла по воду к фонтану  
там набирала воду для питья и чтобы стряпать  
а воду для стирки брала из реки  
мало разговаривала с другими женщинами,  
потому что они осуждали моего отца  
и ведь их мужья были совсем не лучше  
а просто были обыкновенные люди  
а мой отец — нет  
И она дома брызгала на пол водой из реки  
и мела пол растрепанной большой метлой  
потом чистила овощи, варила кушанье, чинила  
нашу одежду  
Она ходила на далекую улицу Пти-Банкье,

где жена одного бывшего солдата  
держала трех коз и еще были кролики  
Мама покупала там козье молоко для отца  
Моя красивая мать  
Она целые дни сидела перед низким столом  
на табурете на жесткой подушке  
и пригибаясь вошила толстую нитку  
протягивала руку за каким-нибудь маленьким шилом  
брала потемнелыми от работы пальцами  
тонкие мелкие гвоздики  
И в большой комнате на голой столешнице  
этого стола разметались  
большие деревянные катушки толстых ниток  
и толстые иголки с большими  
ушками  
и лоскуты раскроенные пёстреньких материй  
Мама заканчивала работу, мыла руки  
и пальцы опять становились светлыми  
и цвел шиповник с серёдкой золотой  
когтистый куст с улыбкой нежно-розовой  
мой дом  
ворота  
руки мамины, полные заботы  
Оттуда — воспоминанье  
желто-голубого света и полёта,  
и ночью в темноте —  
чьего-то невидимого взгляда  
Мама сказала, что у моего отца в его жизни была  
большая любовь  
Мама хорошо знала Катерину, это была ее подруга  
когда-то они играли в волан — девчонки — на улице  
— у домов  
Мама сказала, что Катерина умерла от тоски  
Я это узнала такое — такую тоску, такую боль в груди  
после узнала



в своей жизни

А Катерина тосковала потому что сказали что

мэтра Франсуа не освободят из тюрьмы  
его потом все-таки освободили

А я не могла себе представить, как это — умереть

от тоски по моему отцу

И мне хотелось быть Катериной и даже умереть

только чтобы это был кто-нибудь другой

непонятно кто...

После я узнала, что кроме тоски у нее была эта болезнь легких  
она заразилась от моего отца, но его болезнь долго

тянулась

тлела

а она скоро умерла

от кровотечения из горла

Но ведь это могло произойти так скоро как раз

от тоски любовной

У меня тоже больные легкие

а мама всегда была здорова

И теперь опять об отце

Отец берег свои старые стихи, которые своей рукой

переписал

когда его из города выслали, носил их повсюду

в дорожной сумке

и у нас дома был маленький комод красного дерева

там лежали в самом верхнем ящике стихи моего отца

он редко вынимал их

И зачем?

Ведь у него глаза были больные, трудно было читать,

перечитывать

И там была его поэма *Pet au Deable*

*Pet au Deable* — Чёртов бздёх назывался — это был

такой межевой камень —

давно —

когда отец был молодым —

такой большой камень, похожий на кучу дерьма  
Из-за этого камня университет с городской властью спорили  
и об этом — длинное смешное стихотворение  
со всякими непристойностями  
как он это умел писать  
поэма длинная  
называлась: роман  
всегда такое название у таких длинных стихотворений  
поэм  
Но я бы сейчас не сказала, что это была смешная история  
На самом деле это была борьба против бугров  
в университете  
Студенты-булгары перетаскивали этот камень,  
чтобы пометить владения  
университета  
это называли «засилье бугров в университете»  
и стали выживать их  
и городская власть была против них  
потому что университет как будто и не зависел  
от городской власти  
и, в сущности, получалось, что в городе остается  
независимая община булгар  
и они говорят, будто ничего не помнят о себе,  
а на самом деле помнят!  
И эта история с межевым камнем была не просто  
шалость, озорство,  
а они показывали, что не уйдут и не отдадут  
свои права  
И там вмешались против бугров люди знатные  
и влиятельные  
и уже громили дома бугров и били студентов  
и профессоров в университете  
И в этом романе Pet au Deable отец издевался  
над городской властью  
и стоял за своих

Но с той поры больше уже ничего не было  
и бугри совсем забыли, кто они  
И вот отец вдруг решил посмотреть свои давние стихи,  
также с ним случилось  
выдвинул верхний ящик нашего комода и не нашел  
Pet au Deable  
понял сразу, кто мог быть виноват  
Закричал хриплым своим голосом на моего брата:  
Где Pet au Deable?!

И брат ответил хмуро, с открытым взглядом, что пустил  
на растопку очага в кухне  
«эту чушь» — так сказал

И мой отец дал ему с размаху пощечину и толкнул  
и тогда мой брат бросился на моего отца  
они упали на пол и дрались кулаками  
стучались локтями о деревянные половицы  
катались по полу и выкрикивали друг другу  
оскорбительные слова

Мать вбежала и закричала моему брату: «Не смей его бить!»  
Она оттаскивала сына от мужа, хватала за одежлу  
Брат поднялся с пола, нахмурил еще сильнее  
свои красивые брови  
и пошел из комнаты во двор и за ворота

Мать стала подымать отца  
он сел с трудом, она подхватила его под мышки  
он всхлипнул и забормотал  
— Я из твоих детей несчастный самый —  
твой муж — твоя любовь твоё дитя  
Однажды белочка пришла и грызла руку  
Залез к тебе в дупло и там дрожал  
Не сплю один — смерть наступит башмаком  
и всё!..

И когда мой брат получил свою ученую степень  
лиценциата  
он уехал со своим испанским другом, бакалавром

Самсоном Карраско  
в Саламанку

где знаменитый университет испанский  
там он стал знаменитым профессором медицины  
но никогда не хотел встретиться со мной  
и я не хочу

А моя мать гордилась своим сыном, любила его

А меня брат не очень любил

Он знал стихи моего отца и презирал его

называл его льстивым трусом

предателем и лизоблюдом

говорил, что мой отец готов был в своих стихах задницу

лизать любому правителю

и проклинять противников правителя этого,

лишь бы платили!

Но ему ведь и не платили ни гроша

за его лизоблюдство

а только презирали!

Потому что все видели, как это он силится усидеть

одной жопой на двух стульях —

так мой брат говорил —

льстить королям и герцогам и еще и за своих стоять

Только брат напрасно обижал моего отца и совсем

напрасно говорил всю эту

неправду!

Что с того, что отец во многом, ну, во всем почти в жизни

был как все!

Зато в его стихотворениях есть что-то такое,

чего нет у других поэтов,

что не как все!

Крупинка, зернышко чего-то совсем нового!

И все равно, все равно

в нем самом и в его стихах

тонким ровным маленьким огнем

что-то непокорное и новое словно бы горело

и все это чувствовали  
и понимали, что он не такой как все  
как другие, как все они  
И нет, мой брат не был прав, когда называл его льстецом  
Отец нигде не задерживался в своих скитаниях  
нигде не мог ужиться  
И еще вот что:  
мой отец очень хотел вернуться в Париж  
в город, где он вырос, где был молодым  
где закончил за несколько дней до ссылки свое  
самое главное писание  
сочинение —  
LE TESTAMENT  
вернуться в город  
где любил Катерину  
где жила его мать  
где жена ждала его  
Моя мать всю свою жизнь берегла стихотворения моего отца  
его рукой переписанные  
Он ведь никогда не писал о высокой любви  
а так  
что-то как надо по каким-то правилам  
писать про какую-то любовь или нелюбовь  
Он думал, что ему заплатят в Блуа или еще где-то  
Отец был мастер всё запутывать  
Моя мать спрашивала его  
зачем он ничего не написал о Катерине  
А он в ответ взглядывал на мою красивую мать  
со злобой в чертах  
темного своего лица  
и говорил отчужденно:  
— Катерина — только моя! И никто не должен знать  
правду  
о ней и обо мне  
И моя мать тогда говорила ему, что не понимает этого

Тогда он говорил:

— Я никому не отдам мою Катерину!

Пусть не прикасаются к ней любовно

даже через описание моей любви!

Никогда не будет такого описания!..

И моя мать слушала его и молчала

И спрашивала с досадой

почему он никогда не называет ее по имени —

Маргарита

— А чтобы мне тебя не путать с пивной бочкой,

с вывеской питейной! —

отец подавился хохотом и закашлялся

И чего он только не проделывал в своих стихах с этой

гро Марго —

вместе они притон держали

и этот притон назывался наше государство

и он кого только к ней не водил

и как он с ней был —

это с бочкой...

Но я сейчас скажу вот что:

Когда отца выпустили из тюрьмы, он сразу пошел

к моей матери

Она тогда уже была вдова с маленьким сыном

я уже говорила про это

А он мою мать помнил с той поры

когда они еще были почти детьми — он,

Катерина и моя мать — Маргарита

Моя мать тогда только-только собиралась замуж

за своего первого мужа

Она помогала своей подруге Катерине —

просила у своих родителей свечи, уголь и еду

и приносила ей

Вот тогда мой отец стал называть ее Марфой

говорил, что она — как в евангелии от Иоанна

так шутил

А когда пришел к ней после тюрьмы  
он был совсем слабый и очень горевал о Катерине  
только не в стихах, а в своей жизни

А моя мать приняла его  
только вместе они прожили недолго

Он выздоровел и опять где-то пил  
и драка еще была и тогда его и выслали из города  
на десять лет

И вот  
я вам сейчас всё расскажу

Вы хорошо знаете стихи моего отца  
и помните LE TESTAMENT

И вот там есть Dame du ciel regente terrienne...

И эта молитва Богоматери написана как будто для  
матери моего отца  
для моей бабушки  
как будто это она молится Богоматери  
но в самом конце акrostих —  
как будто подпись —

V  
I  
L  
L  
O  
N

как будто он хочет сказать, что на самом деле  
это он сам молится

Моя мать забрала бабушку из богадельни, когда  
его выслали  
кормила, одевала

Бабушка боялась ее, потому что моя мать часто  
сердилась

Бабушка винила себя за то, что отдала сына в услужение  
а ведь и другие отдавали, у кого денег было мало  
— Что он с ним делал... — повторяла бабушка

о том, что делал Гийом Вийон  
с моим отцом, мальчиком тогда —  
И если бы я знала... — повторяла она,  
ожидаая всякий раз утешения от моей матери  
— Зато он выучился, — говорила моя мать, —  
а так остался бы носильщиком  
на базаре  
как его отец  
надорвался бы и умер, тридцати лет не прожив  
Тогда бабушка начинала плакать  
И моя мама говорила сухо и жестко:  
— Ты знала. И не убыло от него  
И эти слова были как будто знак,  
что пора заканчивать этот разговор  
Бабушка прятала лицо в ладони и плакала  
уже совсем тихо  
для себя одной  
Гийом Вийон то и делал с моим отцом,  
что делают обыкновенно с мальчиками клирики  
и одинокие мужчины  
отец как-то сказал моей матери, что это не было  
неприятно  
Бабушка умерла, когда мне было четыре года  
И помню, как я не то чтобы видела ее, а скорее  
чувствовала, как она смотрела  
на меня  
с обожанием,  
как она пугливо как-то и восторженно-бережно  
целовала мои маленькие ладони  
Она считала меня красивой и не могла налюбоваться на меня,  
потому что я была похожа на ее сына!  
Он у нее был единственный, и она считала его правым во всем  
Она боготворила его  
Она его очень любила  
Я совсем не помню ее лица



Она всегда носила высокую остроконечную  
шапку-эннен — колпак  
и поверх шапки — большой белый  
платок-покрывало  
Когда-то ее штрафовали за эту шапку,  
потом отстали  
Такие шапки в Париже могли носить только знатные  
женщины  
Она говорила, что там, далеко, откуда она родом,  
в тех землях болгарских  
женщины носили такие шапки  
это болгары привезли такие шапки в Париж  
Она говорила, что там, далеко, есть большие зеленые  
равнины  
и солнце светит подолгу в году  
и там у всех другие имена,  
не такие как наши теперь  
Она и вправду всегда молилась Богоматери  
говорила, что ее предки первыми стали почитать  
Богоматерь  
как Богиню  
Они, ее предки, назывались непонятым словом —  
богомилы  
это слово было словом бугров или склавов —  
такие народы  
Они принесли почитание Богоматери в другие земли  
из своей земли  
откуда их прогнали  
за их знание того,  
что в мире существуют добро и зло  
и каждый вечер небесные воины добра и небесные  
воины зла сходятся в небе  
на битву  
и это вечерняя заря  
и кто победит, того и будет правда на другой день

А утренняя заря — это воины-победители идут  
Я никогда не знала, как звали бабушку

Стихи моего отца очень красивые

Когда читаешь их, слова звучат как музыка

лютни-зумбюлы

La joye avoir me fay, haulte Deesse

A qui pecheurs doivent tous recourir

Comblez de foy sans fainte ne paresse

En ceste foy je vueil vivre et mourir...

И вот мне пять лет

Отец так редко брал меня за руку!

И вот я иду рядом с ним

по берегу над рекой

берег высокий

река медленно течет вниз, далеко

Отец не держит меня за руку

Я смотрю на людей

их много

они разноцветные пестрые

они тоже идут, разговаривают, смеются

Теплое солнце

светло

мне хорошо

К отцу подходит какой-то человек —

в красной выцветшей куртке, в сморщенных серых чулках —

заговаривает с отцом

отец видно, что рад

улыбается, говорит с ним

У отца не то чтобы много друзей, но они есть

Этот человек спрашивает отца, есть ли у него сейчас деньги

Отец слегка поводит рукой в мою сторону

и говорит, не называя моего имени:

— ... вот ей купить вафли...

Человек смеется невесело и говорит, что детям

вредно есть сладкое

— А лучше пойдем выпьем...

Отец медленно качает головой и отдает ему деньги —

— Иди. Выпей за меня...

Они говорят еще о чем-то непонятном мне

и человек уходит

И вдруг отец, который, кажется, никогда

не говорил со мной,

смотрит на меня и

говорит мне мягко, что этот человек — Фремэн,

общественный писарь —

отец говорит со мной —

— ... Фремэн славный человек, он хотел стать поэтом

я диктовал ему свои стихи, когда сломал руку

это было давно

Не говори матери, что я отдал ему деньги...

Я счастлива, потому что отец говорит со мной,

и у нас общая маленькая тайна

и я никогда его не выдам

Не помню, чтобы он когда-нибудь купил

мне вафельные трубочки

мама покупала несколько раз

И в теплую погоду отец берет меня с собой

на виноградник Пьера Гиро

Отец не держит меня за руку

я просто шла рядом

маленькими ногами

босиком

Отец шагал в длинных узких вельветовых штанах

бордового цвета

в короткой черной куртке с большими

железными застёжками

на голове у него была темная войлочная шляпа

с полями и высокой тульей

Он смотрел прямо перед собой

словно бы надменно

высокомерно  
У него был вид чудака  
Обычно он всегда ходил без шапки  
даже в холод  
и его черные жидкие пряди так никогда и не стали седыми  
Он горбился совсем немного  
Он был страшно худой — чахотка —  
и один раз, когда мы так шли,  
он нагнулся к моему лицу и улыбнулся мне  
тонкими бледными губами, черным ртом  
зубы у него были гнилые и почти все выпали  
его опухшие покрасневшие темные глаза слабо  
сияли озорством  
Мне нравился гнилой запах из его рта  
Он не размахивал руками, когда ходил  
руки висели и виделись мне длинными и слабыми  
Моя тонкая детская рука тянулась к его повисшей  
ладони  
он все-таки брал меня за руку  
мы долго шли  
я отпускала его руку и бежала впереди  
потом возвращалась к нему и он снова брал меня  
за руку  
Проходил теплый дождь, убегая в ливень  
мы бежали прятались под каким-то навесом  
бежали отец держал меня за руку  
мои тонкие руки в узких рукавчиках платья,  
сшитого мамой  
Он отпускал мою тонкую руку  
я приподымала над шиколотками подол серенького  
платья и пускалась бежать  
вниз вниз по гористой улочке  
мощеной битым кирпичом  
Мне было пять лет  
Мы шли на виноградник Пьера Гиро,

который всегда продолжал читать и любить стихи  
моего отца  
разбирал, как они сделаны  
и находил много тайн в LE TESTAMENT  
Я спрашивала отца, есть ли в его стихах тайны  
Он улыбался вдруг тихо и озорно и проводил  
горячей ладонью  
по моей голове детской  
Я чувствовала жар его ладони сквозь теплые детские  
свои волосы  
На винограднике Пьера Гиро собирались ценители  
стихов приятели  
моего отца  
Приходил этот книготорговец  
Джузеппе Д'Агата  
приходил Фремэн  
приходили братья Фуко — Мишель и Поль  
они были близнецы, держали цирюльню и  
как это водится  
занимались лекарским ремеслом  
иногда с ними приходил и Галерн-хирург  
Мой отец чего-то пожелал ему в своем LE TESTAMENT  
смерти что ли  
или простуды  
Но Галерн почему-то не рассердился  
а братья-близнецы были похожи, но у них  
были совсем разные  
характеры —  
это было видно —  
они говорили по-разному и у них были разные жесты  
и приходил еврей Канчес  
он умел говорить по-испански и  
все знали на винограднике, что он ищет  
какой-то камень философии  
о котором он много беседовал еще с одним гостем

армянским стариком, торговцем ношеным платьем,  
который знал много сказочных восточных языков  
И все гости и сам Пьер Гиро, хозяин, располагались  
вольно на скамьях  
за большим дощатым столом в тени лоз  
На столе уже были на больших блюдах груши, кисти  
винограда и сыр нарезанный  
стаканы и вино в кувшине  
Все пили, ели понемногу  
и начинали говорить  
Еды было совсем немножко  
никому и не хотелось есть  
И мы дома не голодали —  
была гороховая похлебка вкусная и вареная говядина  
и мама свежий хлеб покупала у булочника  
отец мало ел, а свежий хлеб ел охотно  
и еще любил инжиром заедать — мама покупала...  
И я сидела немного поодаль от этого дощатого стола  
на сухой теплой земле  
вытянув ноги под платьем  
и наклонялась иногда вперед и тянула подол платья  
чтобы прикрыть босые пятки  
сама не знала зачем  
Может быть, мне было как-то неловко рядом  
с этими людьми  
Они говорили о рифмах о книгах и по-латыни  
И наступал черед чтения стихов  
И все эти люди — вместе с моим отцом —  
Вдруг составляли идеальное, невозможное на свете  
сообщество  
на несколько часов  
И вот начинает Канчес греческими стихами —  
— Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?  
Он будет разрушен, высокий Приамов  
скворешник...



И пред самой кончиною мира  
Будут жаворонки звенеть...  
Все слушают  
и я сижу на земле и слушаю  
и они совсем не обращают на меня никакого внимания  
А отец широко раскрывает рот и показывает пальцем  
на несколько  
оставшихся во рту зубов  
совсем гнилых  
и смеется и повторяет: «...скрежет  
зубовный... скрежет зубовный...»  
А видно, что ему нравится, когда его так хвалят,  
превозносят в стихах...  
Они все знали,  
что мой отец никаким разбойником не был в своей жизни  
а только в стихах  
И потому и небесного клира  
Там, где Бог...  
И вот они завершают одну часть этой своей встречи  
Они куда-то убегали по дороге поэзии  
и бежали всё быстрее  
в своих беседах  
А я сижу на теплой сухой земле  
и отец вдруг поворачивает ко мне голову  
и произносит мне хрипло:  
— Играй, играй...  
Он смотрит как будто сквозь меня и совсем не думает обо мне  
и словно бы не видит что мне совсем не во что играть  
И вдруг старик армянский, который знает сказочные  
восточные языки  
тоже смотрит на меня  
почти пристально,  
как будто он гадатель,  
и откладывает на блюдо надкушенную желтую грушу  
вытягивает из-за пояса зеленый платок



обтирает пальцы длинные  
и читает спокойным голосом  
а платок на столешнице возле его руки  
в пестром рукаве  
как маленькая замершая волна  
и читает —  
— без оболочки дочь Вийона  
летает шариком над домом  
и выше дочки только тать  
идем искать

всё улетело улетело  
осталось мокрое лишь тело  
и выше кожи только тать  
летим летать

без оболочки дочь Вийона  
стоит в холодном незнакомом  
без почвы тьме верстает мрак  
и слову прах

под снегом под пургой под белым  
вийон и дочка все без тела  
и дети тычут пальцем в окна  
там Бог в нас

идет — но видят только дети  
считалочка — ты будешь третьим...  
а выше слова только тать  
пора порхать

невинность опыты вийона  
и дочка ходит незнакомым  
ему путем и только снег  
накроет всех...





воровского языка

И многие писали LE JARGON ET JOBELIN

Но самые смешные и веселые Цветные баллады сочинил  
мой отец!

A Parouart, la grant mathegaudie,  
Ou accolez sont duppez et noirciz...

Но такие стихи женщины вслух не читают  
И мне хотелось рассмотреть наших разбойников  
и послушать, как они говорят

Они и днем собирались  
И однажды мама увидела, как я хожу вокруг них  
неровными кругами  
Она подбежала, схватила меня за руку и потащила домой  
А дома она мне все руки — от плечей до запястий —  
исщипала

Она говорила:  
— Если они жалеют твоего отца, это совсем не значит,  
что тебя пожалеют!

Не пожалеют!  
Я молчала и не плакала  
И после протянула руки тонкие в синяках отцу  
Он странно улыбнулся и погладил меня по голове,  
по волосам горячей ладонью  
И кто-нибудь из этих разбойников окликал его  
и он подходил ближе

Кто-нибудь говорил:

— François, pomme!..

и угощал его яблоком  
Отец любил есть яблоки  
только не мог их грызть, а резал на кусочки и сосал  
эти кусочки

Но это яблоко он отдавал мне  
обтерев полую куртки  
и я держала это яблоко в руке  
А он шел задом наперед, лицом ко мне

чуть взмахивая согнутыми в локтях руками  
в такт своему стихотворению,  
которое он говорил вслух  
и меланхолическая насмешливость пробивалась  
мучительно и странно  
сквозь прерывистое хрипенье горла  
обоженного давней пыткой  
горячей водой

Он хорошо знал дорогу и не спотыкался  
Он говорил, взмахивая руками:

— Ночной палатки улыбнулся свет  
Карман смеется Он не из серьезных  
Я не куплю сегодня сигарет  
И пива не куплю Вода и воздух  
Вода и воздух Будет жизнь длинней  
На несколько минут без сигареты  
Но будет ночь сегодня холодней  
Ведь ночи сигаретами согреты...

Мама ждала нас

Я чувствовала, как ей хочется побранить отца  
но она молчала

и потом снова отпускала меня с ним

Зачем он брал меня с собой?

Он мог бы этого не делать

Значит, он любил меня...

И еще я помню, как мама устраивала дома посиделки — *veillée*  
Так было хорошо!

тоже была поздняя весна

или даже и лето

Мы пошли на горку и собирали одуванчики на салат

Мама улыбалась, не разжимая губ

Она любила меня

Я это чувствовала и была счастливой

Она сшила мне круглую шапочку и называла меня *nonnette* —  
это монашка, а еще — синичка-лазоревка...

Мама приглашала друзей отца

только не звала еврея Канчеса и армянского старика  
Она боялась какого-нибудь наказания за таких гостей  
так, на всякий случай боялась  
все-таки церковные власти могли наказать  
или не наказать

Отец, конечно, понимал ее опаску, но ему было  
оскорбительно такое принимать сразу

— Тогда и мужа гони, — говорил он зло  
и с насмешкой в голосе. —

Зачем тебе дома болгар, Гран Тюрк...

— Не мучай меня, — быстро произносила она, как будто  
просила прощения  
и тотчас говорила сердито, грубо:

— Ты что, хочешь, чтобы тебя опять на дыбу подымали  
и горло кипятком заливали?!

И вдруг оглядывалась на меня и быстро замолкала...

Но она не всегда так опасалась

Когда она выходила замуж в первый раз,  
мой молодой отец пришел на ее свадьбу  
со своей матерью и с Катериной

Тогда он как раз последний экзамен сдал и получил  
диплом, что он магистр искусств

и еще ученую степень лиценциата  
несмотря на все трудности и препятствия

И его мать тогда еще не болела

она шила перчатки простые матерчатые на продажу

Она пришла в этой остроконечной шапке  
и платок-покрывало — поверх

А Катерина стояла рядом с ним как тонкая свеча

А Маргариту не выдавали насильно замуж, она шла сама

Отец моего брата был видный

рослый светловолосый парень из одной деревни

близ Понтуаза

откуда были многие в Париже

хороший кузнец  
очень толковый  
только он умер через два года  
помогал своим деревенским родным косить луг  
на правом берегу Сены  
и простудился очень сильно  
и много денег ушло на его лечение  
но он все равно умер  
Кто бы в день свадьбы угадал такое несчастье  
Была веселая свадьба  
Народу было полно  
женщины бегали сустились нарядные и быстрые,  
словно осы  
Жирный пар поднимается в кухне над большими котлами  
На вертелах жарились поросята  
Отец Маргариты — оружейник  
с большой мастерской — не пожалел денег  
Это потом, когда ее отец и мать умерли,  
братья добились в суде, чтобы она ничего  
не получила из наследства  
Им не нравился мой отец  
А когда родители Маргариты были живы,  
ничего для нее не жатели  
Распахнутые ворота были для почетных гостей  
и еще люди приходили через нарочно поваленную ограду  
А мой отец пришел красивый  
шапка маленькая чуть сдвинута на лоб над черными бровями  
маленькая красная роза была заткнута за ухо  
на нем были штаны подпоясанные узким  
шелковым поясом  
перевитым золочеными парчовыми нитями —  
старинная одежда всадников  
привычных к долгим переходам на конях  
А его мать в болгарской шапке стояла подле него  
всё, что она хранила в заветном сундуке

и никогда ни за что не хотела продавать!  
А потом всё равно всё пропало  
Но в тот день все понимали, что бугры еще помнят себя  
помнят, как их предки двигались  
медлительно и упорно  
на низкорослых выносливых конях  
по далеким-далеким зеленым равнинам  
и шли рядом со своими повозками  
на которых ехали под разноцветными полотнищами-  
зонтами натянутыми туго  
их женщины в остроконечных шапках  
и вот так они вошли в Париж  
превращая город в сказку Востока  
Как решились Франсуа и его мать и его Катерина  
прийти так открыто  
после скандала с межевым камнем  
после погромов  
после того, как мэтр Р. объявил публично  
что всех бугров,  
злодеев, еретиков и богоотступников,  
совратителей в свою ересь,  
отверженных самим Богом и добродетелью  
надо сжечь живьем!  
И призвал народ Парижа  
дубить буграм спины в дубильнях  
И после таких призывов решились прийти  
И несколько человек из гостей закричали:  
— Бугры! Бугры! Вон из нашего города!  
И тогда  
Маргарита взяла за руку Грегуара, своего  
молодого супруга  
и они вдвоем подошли к Франсуа и его близким  
— Спасибо, что пришли! — сказала Маргарита  
и обняла и поцеловала свою подругу Катерину  
— Счастья тебе, Маргарита, и Грегуару, твоему супругу!



Счастья соколу и голубке! — выкрикнул Франсуа  
Он запел мелодию хорана — турецкого  
булгарского танца  
всё помнили болгары, а говорили,  
будто ничего не помнят  
Тогда у него был звонкий сильный голос  
Кто в Париже не знал мелодию хорана!  
Музыканты подхватили заиграли  
Бабушка моя громко забила в ладони  
и все за ней  
И мой отец повел хоровод  
он был лихой танцор  
И все закружились в хороводе  
отбивая ритм новыми башмаками...  
Тогда моя мать была молодая и ничего не боялась!..  
А потом уже боялась, опасалась  
но эти посиделки все равно устраивала  
И скатерть белая чистая  
почти прикрывала ножки стола  
и на белом прозрачно темнели немного  
рюмки тарелки  
гарафа с легким вином  
большая миска с салатом из одуванчиков  
и на подносе оловянном тусклом  
коричневый сладкий пирог  
в него клали много сахара и корицы  
Такой пирог называется в Париже «турецким пирогом»  
бабушка научила мою маму печь такой пирог  
Приходил Пьер Гиро, и Фремэн приходил  
а Галерн и братья Фуко были женаты и приходили  
с женами,  
которых я совсем не помню  
Только помню, как мне представлялось, что было бы хорошо  
если бы эти жены братьев Фуко тоже были близнецами,  
ведь это было бы смешно...

Мне интересно было смотреть и слушать  
Я помню себя в детстве всегда со взрослыми  
Подруги у меня появились только после смерти мамы  
Я сидела не за столом, а на маленькой низкой скамейке  
в углу комнаты  
и сцепила пальцы рук и вертела большие пальцы  
вокруг друг дружки  
Никто не обращал на меня внимания  
Отца просили читать  
Он читал тихо, чтобы не напрягать больное горло  
совсем невыразительно читал  
опустив кротко руки на колени  
край скатерти прикрывал его колени  
Он смотрел прямо перед собой, но как будто  
не видел никого  
глаза его были полужакрыты  
Свет большой толстой свечи озарял его худое лицо  
и будто лепил из темной глины его впалые щеки  
Он начинал с BALLADE DE LA GROSSE MARGOT —  
— Se j'aime et sers la belle de bon hait,  
M'en devez vous tenir a vil ne sot?..  
На самом деле это было совсем просто сделано  
Я ведь уже говорила  
Суть была в том, что «гро Марго» —  
так назывались питейные вывески  
и пивные и винные бочки  
Но ведь у него всегда было просто  
Вдруг — Где прошлогодний снег?  
Или просто перечислял всё подряд —  
разные имена, предметы  
И получалось смешно  
Прошло время, и отец моего сына позвал меня на поиски  
булгарских земель  
о которых мы не знали, где они  
и побывали во многих местах, но не нашли то, что искали

потому что заблудились почти сразу  
среди германских городов и селений  
и просто пошли, куда глаза глядят  
Тогда у меня еще не было ребенка  
и мы странствовали два года  
Потом возвратились в Париж  
Потом я еще много скиталась  
Я помню, как мы шли по берегу Рейна  
потом через виноградники  
И отец был у меня перед глазами  
Большую бочку с вином там называют Девица Роза  
и поют песню:  
Девица Роза, дай мне тебя обнять  
Давай намилуемся нацелуемся всласть...  
Отец читал о своей гро Марго  
и вот уже смешки слышались за столом  
Потом смеялись громко!  
Смех моей матери звенел, как журчание ручья  
Она хваталась за виски, вертела головой  
косынка сползала с волос на шею  
Отец читал тихим хриплым голосом  
одну за другой — свои баллады  
и смех не смолкал!  
И отец заканчивал чтение  
судорожно вздыхал, улыбался  
и обнимал мать одной рукой за плечи, трепал по волосам  
а другой рукой приподымал рюмку  
изображая лихость  
Смех возникал от всей этой смешной неправды  
которую отец говорил в своих стихах  
Все знали, что женщина была на самом деле винной бочкой  
сироты — богатыми ростовщиками  
а самые что ни на есть подлинные предметы житейского  
обихода  
совсем несуществующими оказывались

Это он умел

Всё это было очень смешно

Вы не знаете

На самом деле он всегда писал так, чтобы этот смех

освобождающий был!

И я подумала, что когда-нибудь перестанут понимать

его стихи, этот смех

Не будут смеяться,

потому что будут думать, что всерьез написано,

а не для того чтобы смеяться

очищающим смехом,

от которого человек делается свободным!..

И потом просили маму петь

Она запевала что-нибудь такое —

— Or vien ça, vien, m'amie Perrette,

Or vien ça, vien ici jouer!..

Она знала много таких песен

Еще с Катериной пели когда-то на два голоса

Мама хорошо пела

глаза у нее становились ясными, а лицо — веселым

и красивым

Потом завязывался общий разговор

о каких-то городских указах, о налогах, о ценах

мама тоже говорила

Но отец молчал

Он сидел опершись локтем о стол, подперев щеку ладонью

рассеянно оглядывая комнату

Но вот он увидел меня, улыбнулся

вдруг вытянул правую руку и прищелкнул пальцами

и позвал меня

— Марин!..

Я встала и пошла к нему

как будто летела низко над полом,

так не чувствовала, как иду

Отец нагнулся, приподнял меня и посадил на колени

Его глаза — близко — такие опухшие, с тяжелыми веками —  
но с улыбкой ласки и озорства

Он поцеловал меня в висок — горячие губы у него были  
Так счастлива я была еще два раза в своей жизни —  
когда тот, кого я любила сильно, в самый первый раз,  
нес меня на руках в нетерпении

бегом по лестнице крутой  
вверх, в свое жилище,  
и когда я играла на берегу ручья, в лесу,  
со своими маленькими сыном и дочкой  
присела на корточки, и они обнимали меня за шею  
теплыми детскими руками...

И однажды я сказала отцу:

— Вдруг когда-нибудь перестанут понимать твои стихи  
так  
чтобы смеяться

И он — нимало не удивившись — ответил:

— Значит, будут понимать как-нибудь по-другому  
Не огорчайся, Марин!..

Только один раз он говорил со мной так серьезно  
и так доверчиво...

Потом я росла, и он все реже говорил со мной  
Он так редко говорил со мной, что я запомнила каждое  
его слово

Он уже ни с кем не говорил  
и не хотел видеть  
лежал с закрытыми глазами

Уже не было ничего  
не было посиделок  
и на виноградник мы больше не ходили

У отца отнялись ноги  
он слег

У него болел живот и часто кровь текла изо рта

Друзья навещали его  
приходил Фремэн, он всегда садился поодаль от постели

на крышку деревянного раскрашенного сундука  
из маминого давнего приданого  
произносил что-нибудь короткое утешительное  
и сидел недолго

А Пьер Гиро садился в ногах постели  
и будто ждал от моего отца каких-нибудь слов  
и так и не дождавшись, уходил

Мама говорила мне, чтобы я вышла из комнаты  
там Галерн осматривал и ощупывал тело моего отца  
еще живое

И выходил насупившись  
а мама закрывала лицо ладонями сильно  
но не плакала

Мишель Фуко приносил какие-то снадобья  
и микстуры в маленьких бутылках  
Отец всё глотал покорно и только бормотал  
как будто себе самому:

— ...горькое... горькое...

И теперь Канчес и армянский старик тоже приходили к нам  
Маме уже было все равно  
она перестала бояться

А мне было жалко отца  
я хотела, чтобы всё это с ним скорее кончилось  
но я боялась такой своей мысли  
мысль была страшная, плохая

Тогда я еще не знала,  
как это страшно тоскливо — умирать  
в особенности когда яркое жаркое летнее солнце  
беспощадное к тебе, умирающему  
раскидывается по комнате  
долгим полуденным светом  
как будто сама человеческая жизнь  
с ее бескрайним ожиданием радостей  
Отцу оставалось прожить, наверное, одну неделю  
Я знала, но я боялась об этом думать

А мать ушла  
сказала, что у нее больше нет сил ухаживать за ним  
Она сказала грубо и отчаянно: «Мне всё надоело!  
Больше не могу выгребать из-под него дерьмо!»  
Отец лежал с закрытыми глазами и ничего не говорил  
а она не смотрела на него  
Я проводила ее до двери  
Она хотела поцеловать меня в губы  
но я отвернулась и вышло — в висок  
Она сунула мне в руку несколько монет  
и быстро сказала:  
— Остальные деньги — в комоде, в нижнем ящике  
под простынями  
Всё выстирано, белье чистое  
Кушанье в погребе, на леднике  
сама разогреешь...  
И я вдруг поняла, что она знает:  
отец умрет совсем скоро!  
И такой страх сделался у меня!  
А она наклонилась и быстро и громко прошептала мне  
на ухо:  
— Не могу видеть, как он умрет...  
И быстро ушла  
А я подумала, что это была неправда — эти ее слова  
она так сказала, чтобы я не думала о ней плохо  
а на самом деле она просто больше не хотела ухаживать  
за ним  
потому что устала  
и еще потому что это не имело смысла  
он все равно должен был скоро умереть  
Она перебралась к своей двоюродной сестре  
на другой конец города  
и не приходила к нам  
А я осталась подле него  
и ухаживала за ним как могла

Я нарочно не звала ее  
А друзья по-прежнему приходили  
вместе и порознь  
садились у постели  
и неловко спрашивали: «Как ты?»  
и не дождавшись ответа,  
которого они и не ждали,  
говорили смущенно  
— Ты выздоровеешь...  
Отец молчал,  
будто уже совсем удалился в другой мир  
где смерть  
Друзья уходили,  
оставляя кулек с яблоками или пирожками  
А я оставалась подле него  
Он уже совсем не мог глотать  
только сосал ломтик яблока или кусочек пирожка  
Я чистила и нарезала ему яблоки  
И ночью я стелила себе постель на жесткой крышке сундука  
чтобы не отлучаться от больного  
умирающего  
Его мучили боли в кишках, в груди  
Но вдруг переставало болеть, отпускало  
и на его лице появлялось выражение удовольствия  
он с улыбкой детской оглядывал комнату  
как будто видел всё в первый раз  
и смотрел на окно  
где на дворе в теплом солнце зеленела орешина  
Но боли скоро возвращались  
и он снова закрывал глаза и молча терпел  
Я подумала, что надо подстричь ногти на его ногах  
Я помогла ему сесть на постели  
обхватила обеими руками его ноги в холстинковых белых  
штанах  
и осторожно спустила на пол



засучила штаны до колен и поставила ноги —  
одну за другой —  
в большой таз с теплой водой

Я знала его тело, я же его мыла  
Я сидела на полу в старом платье без рукавов  
поджав под себя ноги босые

Стричь было трудно  
ногти были очень твердыми

Я подняла голову  
Он улыбнулся мне черным ртом  
странно ласково...

Я убрала одеяло с его постели,  
потому что было жарко

Он лежал, прижав ладони к желудку  
Он долго терпел боль молча  
Потом он уже не мог терпеть и кричал  
И Канчес говорил отчаянным голосом:  
— Так невозможно!

и поил его маковой настойкой

И от этой настойки приходило забытье  
когда умирающий уже не мог чувствовать свою боль

Друзья моего отца плохо говорили о моей матери,  
обзывали «сукой»  
за то что она оставила моего отца

Моя мать ждала его десять лет  
а после она поила его козьим молоком, стирала и чинила  
его одежду

любила его в нашей комнате с низким потолком  
на постели скудной  
на выстиранных ее руками простынях  
и всегда знала, что он не забыл Катерину  
и никогда не забудет  
и четыре года ухаживала за ним параличным

А когда ей в самый последний раз не хватило сил  
они, его друзья, не простили ее

и я тоже  
тогда  
А теперь где я попрошу у нее прощения?  
На кладбище  
Нигде...  
Я была с отцом в его смертные дни...  
Начался озноб, но лицо горячее было  
Потом вдруг полегчало  
Он попытался вытянуть руку, но не смог  
и оперся ладонью о тюфяк  
приминая слабо простыню  
Его лицо пугало меня  
оно было страшное лицо смерти  
кожа потемнела желто и страшно  
и страшно облепила скулы  
Несвежая простыня темнела  
Запах смерти был каким-то гнилым  
но это просто был запах кала и мочи больного,  
умирающего  
Отец улыбался так страшно, так безумно и беззащитно  
Он проговорил так хрипло и страшно  
невнятное что-то  
его голос срывался тонко и вдруг  
И он посмотрел прямо в мое лицо, в мои глаза  
Мне страшно было  
он хотел сказать что-то последнее  
но пробормотал жалобно и тонко:  
— ...зеркало... Катерина...  
Я сидела на краю этой его смертной постели  
Он вдруг собрался с силами  
потянул на себя мою руку  
и поцеловал тыльную сторону ладони  
Он видел меня  
он еще узнавал меня  
Но это уже был страшный ужас

потому что он уже умирал  
И в эти последние мгновения  
поднялось откуда-то с самого дна его тела  
из распухшей печени, из терзаемых болью кишок  
то, что уже не было ему родным  
но всё еще оставалось его сутью  
от предков —  
стон склава, зов тюрка —  
и пересилило родные французские слова  
Он уходил с этим  
Это вырвалось из черного рта  
из губ запекшихся  
первого поэта Франции  
Он застонал  
и это не было французское «О!»  
это было тяжелое дыхание склава — Ох!  
и тюркский плачущий зов — annem...  
— Ох!.. мама...  
annem...  
Я быстро подала ему полотенце  
он прижал ко рту  
кровь хлынула изо рта и страшно промочила полотенце  
Я выбежала на улицу и побежала в цирюльню Фуко  
зачем-то прикусив кончик тонкой косички  
Но в цирюльне никого не было  
на дверях висел большой замок  
Я побежала назад, мимо книжной лавки  
Джузеппе Д'Агата стоял на пороге  
Он окликнул меня, но я ничего не ответила  
Он выскочил на улицу и побежал за мной...  
Он влетел в комнату и закричал:  
— Франсуа! Не умирай!..  
И это было так неожиданно —  
вдруг увидеть, как человеческое сильное чувство  
рвет эти страшные мелкие цепочки жизни обыденной

Но отец был уже мертв  
Я прибежала первой...  
Голова его закинулась, рот скривился  
и только странное выражение озорства  
еще сияло слабо в его глазах  
И мне вдруг показалось, так больно показалось  
что сейчас он скажет мне последние слова!  
Но я понимала, что он уже никогда ничего не скажет,  
и я всегда буду жить с этой пустотой  
вместо его последних слов мне!  
Я хотела заплакать и не могла  
а мне было бы легче, если бы я заплакала  
Я вдруг заметила, что Джузеппе Д'Агата не может смириться  
с одним таким простым обстоятельством  
то есть с тем, что его друг облегчился в последнем  
беспамятстве  
перед смертью  
как все люди  
умирающие  
и в комнате плохо пахнет  
последним человеческим дерьмом  
Я находила это естественным и ничему высокому  
не противоречащим  
Только огромная жалость к отцу одолевала меня  
Я ощутила слабость болезненную  
в груди, где сердце  
и присела на сундук...  
Я нарочно не хотела звать маму  
но ей сказали и она прибежала  
Она бежала всю дорогу с другого конца города  
но почти совсем не задохнулась  
Она плакала на похоронах отца  
Я никогда не видела, чтобы женщина так плакала  
Она вдруг набрасывалась на меня с объятьями и поцелуями  
а когда я молча высвобождалась

она плакала еще сильнее  
Она умерла через три года  
Мне было пятнадцать лет  
Она умерла во сне  
Ее сердце просто перестало биться  
Такое бывает  
И после смерти отца, когда я говорила о нем с мамой  
многое оказалось внезапно совсем не таким  
как я думала прежде  
А его друзья ведь знали  
и почти ничего не говорили мне  
Я только от мамы узнала, что отец был профессором  
в университете  
и целый год преподавал  
а потом было разное против болгар  
и это ограбление в отместку за преследования  
и отец правда стоял на страже и потом взял  
свою долю денег  
— Ты не знаешь, — говорила мама, —  
нужно было купить оружие  
были настоящие битвы на улицах  
Болгарскую общину разгромили  
А Филипп Сермуаз повсюду призывал убивать  
и твоего отца искал  
А что мог твой отец? Он защищался  
Он потом стал пить и ему было всё равно  
И выслали его из Парижа вовсе не за какую-то драку  
и его пытали...  
Она помолчала, сжав губы, и сказала дальше:  
— Он был молодой, любил веселиться  
смеяться  
любил Катерину  
и Катерина его любила...  
Такое говорила моя мать  
И ведь и это совершенная правда

Мать выучила меня читать и писать  
но никакого ремесла я не знаю  
только прясть умею немного  
Я могла бы писать стихи, но я отказываюсь от этого  
чтобы просто жить  
и ничего более  
Я никогда не писала стихи  
но это не принесло мне счастья  
Я любила только четверых  
Последний и теперь со мной  
скитаемся вместе, живем подаяннем  
Он художник и подражается иногда рисовать вывески  
Я часто не могу понять его  
как моего отца не понимала моя мать  
Женщины плохо понимают мужчин  
я тоже не понимаю  
А мужчины всё понимают  
и всё знают о женщинах  
Поэтому так тяжело...  
У меня двое взрослых детей  
Моего сына зовут Андрі  
я не знаю, где он теперь  
но он жив и здоров  
потому что я так хочу!  
Мою дочь зовут Катериной  
она добралась до Ассизи в Умбрии и жила  
в монастыре святой Монтерланы,  
Божьей девы  
при матери Марии-Доротее  
потом ушла из монастыря и вышла замуж  
и теперь живет с мужем...  
И это неправда неправда неправда!  
И потому правда...  
И стихи моего отца никто не понимает  
и я не понимаю

но я хотя бы не притворяюсь, будто понимаю  
Просто мне иногда кажется, что я что-то понимаю  
И от художника у меня тоже есть сын  
ему десять лет и его зовут Франсуа  
Мне бы только вырастить его,  
а всё другое в жизни мне всё равно!..  
— И он ни одного мгновения не сомневался во мне, —  
говорила моя мать о моем отце, —  
Он стоял у ворот самой ужасной в Париже  
гостиницы и ждал  
Он знал, что я бегу к нему  
Только что прошел дождь  
Дерево зеленело у ворот  
дыхание зеленой свежести насыщало воздух  
Он потянулся к ветке, сорвал листок  
и поднес к носу  
потом погладил щеку зеленым листком  
Он давно не брился и его впалые щеки потемнели  
от щетины  
Его глаза сияли озорством  
и непонятной беззащитностью  
и детской жестокостью  
Он улыбнулся тонкими бледными губами  
Он очень исхудал  
но все равно был самым красивым  
— И этого довольно? — спросила я  
И мать ответила:  
— Да!

## Примечания

*От ... цвел шиповник... до ... невидимого взгляда...* — из стихотворения Марии Ходаковой «Мой сосед Тоторо».

*От ... Я из твоих детей... до ... и всё...* — из стихотворения Андрея Гаврилина «Кукольный спас».

*От ... без оболочки дочь Вийона... до ... накроет всех...* — стихотворение Александра Петрушкина.

Две начальные строки из стихотворения Андрея Гаврилина «Давайте о Боге чуть-чуть помолчим...».

*От ... Смотрю на тараканиху с детьми... до ... не давит много лет* — стихотворение Андрея Гаврилина.

*От ... Я отложил добро на завтра... до ... над могилой...* — стихотворение Андрея Гаврилина.

*От ... Ночной палатки... до ... сигаретами согреты...* — стихотворение Андрея Гаврилина.

Я знаю, — гробики старух бывают малы,  
Как гробики детей. Смерть, сумрачный мудрец,  
В том сходстве символ нам открыла небывалый,  
Заманчивый для всех больных сердец...

— из стихотворения Шарля Бодлера «Маленькие старушки» — перевод Эллиса.

Ведь не монах я, не судья,  
Чтоб у других считать грехи!  
У самого дела плохи.  
О Господи, я сир и мал,  
Прости мне грешные стихи, —  
Что написал, то написал!

— из «Большого Завещания» Франсуа Вийона — перевод Ф. Мендельсона.

Теперь — кое-что серьезное о булгарах-буграх в Западной Европе. Первым их появление там зафиксировал лангобардский историк Павел Диакон (720-799). Это были тюрки, происходившие, вероятнее всего, откуда-то с территорий нынешнего Китая. Вероятно, они входили волнами, в течение VII—IX веков; тогда же болгары двинулись на тер-



ритории нынешних Кавказа, Волжских земель, Балканского полуострова. Следующие болгарские волны вошли в Западную Европу (первоначально — на территории нынешней Италии и Южной Франции) на протяжении XI—XIII веков; эта миграция была связана с преследованиями на Балканском полуострове богомилов — последователей занимательного религиозного движения, зародившегося и сформировавшегося в среде балканских болгар. (В сущности, «болгар» — русское произношение, а «bulgar» — западноевропейское; сами болгары и на Волге и на Дунае произносят не «о» и не «и», а короткий твердый гласный звук, нечто среднее между кратко звучащими «о» и «ы»). Новые мигранты уже представляли собой тюрко-славянскую общность. Влияние болгар и болгар-богомилов, в частности, на культуру и быт стран Западной Европы было велико. Богомильство породило такие европейские религиозные движения, как альбигойцы и катары. Свойственный богомильству дуализм и специфический культ Богоматери дали начало литературному направлению на тосканском наречии — «Новому сладостному стилю» — с его лирикой, в центре которой — поклонение Прекрасной Даме, духовное служение боготворимой женщине. Наиболее ярким представителем этого литературного направления стал Данте Алигьери. Волны болгар-мигрантов принесли в Западную Европу моду на женские шапки в виде высоких колпаков с платками, накинутыми поверх; такую шапку мы видим на изображении знатной болгарки-шаманки на одном из болгарских балканских граффити. Также вместе с булгарами явились новые музыкальные инструменты — бубен, большой барабан, разновидности тюркских духовых инструментов и характерные мелодии, отраженные в своеобразной нотации, приложенной к известному сборнику средневековой поэзии «*Carmina Burana*». В итальянской кухне до сих пор сохранились своеобразные кушанья болгар-кочевников, это — пицца, в основе которой испеченная на углях лепешка, и макароны, в Средней Азии и сегодня существует это блюдо — макароны с мясным гарниром — «лагман».

Казалось бы, всё ясно! И, тем не менее, нельзя сказать, чтобы болгарским мигрантам очень повезло в Западной Европе. Своих государственных образований они не создали и постепенно растворились, что называется, среди прочего населения... Таким образом, они оказались не нужны историкам! Западноевропейская историческая наука не спешит замечать их и — соответственно! — признавать их влияние, а волжские и балканские болгары фактически ничего не знают о своих западноевропейских единоплеменниках. Чаще всего западноевропейские историки все-таки вынуждены признавать наличие болгар в Западной Европе, но почему-то всегда оказывается, что болгары существовали в западноевропейской истории только в прошедшем времени. Но ведь существовали же они когда-то и в настоящем времени! Да, существовали и представляли собой общность достаточно заметную для возникновения особого словоупотребления. Впрочем, подробно я рассказываю об этом в моем соответствующем исследовании. А теперь останавлиюсь только на некоторых интересных лингвистических примерах.

От «bulgare» во французском языке (а нас в данном случае занимает именно французский язык!) отпочковалось «bougre», породившее — в свою очередь — целое гнездо разнообразных смыслов. Все эти смыслы укладываются в понятие «другого/чужого», представителя сравнительно малой общности, находящейся как бы внутри «основной», «большой», «доминантной» общности. Любопытно, что среди этих смыслов мы находим не одни лишь негативные. Итак, «bougre» — *hérétique* — еретик — этот смысл не требует объяснений; а вот еще смысл — *sodomite* — мужеложец — частое обвинение в адрес последователей еретических движений, церковь полагает гомосексуализм грехом; *personne méprisable* — презренный, *personne misérable* или — *personne malchanceuse* — отверженный, несчастный, неудачливый — характерные определения для представителя «малой общности»! Но рядом с негативом и позитив — *bon bougre* — славный парень! Любопытно, что с понятием «bulgare-bougre» связано и понятие «силы», в том числе и «нечистой», *bougrement* — чертовски... Во французском языке *bougre* также означало

coquin — плут, мошенник, пройдоха, и — gaillard — забавник, весельчак, удалец!..

Фактически все эти смыслы Франсуа Вийон обыграл в автохарактеристиках своего поэтического «я». Собственно, современники Вийона и те, которые позднее имели о нем то или иное представление (как, например, Рабле), знали о его происхождении так же хорошо, как и он сам (хотя он своим болгарским происхождением не гордился, как впоследствии гордился другой известный французский поэт — Пьер Ронсар). В сохранившихся судебных документах, касающихся Вийона, а также в изданной спустя лет пятьдесят-шестьдесят после его смерти (когда образ Вийона уже мифологизировался) анекдотически-комической «Поэме о трапезах на халяву магистра Франсуа Вийона и его приятелей» определение Вийона как «bougre» означает не плута-мошенника и не шута-забавника, а всего лишь фиксирует его происхождение; но если тот же Ронсар гордился своим предком, неизвестным болгарским полководцем, то Вийону его принадлежность к болгарам не могла принести ничего хорошего, их всё еще преследовали как еретиков, что сыграло определенную роль и в судебных преследованиях Вийона; в частности, именно за это епископ Тибо д'Оссины приказал пытать его. Вийон был по приказанию епископа подвергнут пытке как еретик-бугр! Клириком Вийон не был, и в качестве мирского лица мог подлежать епископскому суду именно по обвинению в еретических воззрениях, которые, возможно, он высказывал публично и даже и пропагандировал. Эти его воззрения могли послужить причиной известной ссоры Вийона со священником Филиппом Сермуазом; причем священник набросился на преподавателя латыни первым, Вийон лишь защищался.

Надо отметить, что слову «bougre» не везет с переводом. Так, Н. Любимов в главе XX о жизни Гаргантюа в книге Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» переводит bougres как мужеложцы. Таким образом, получается вот что: «... донесу я уже королю о тех страшных беззакониях, которые вы здесь замышляете и творите, и пусть на меня нападет проказа, если он не велит всех вас сжечь живьем, как муже-

ложцев, злодеев, еретиков и соблазнительей, отверженных самим Богом и добродетелью!». Стоило бы перевести: «...как злодеев еретиков-бугров, богоотступников, совратителей в свою ересь!». Слово «мужеложцы» здесь явно не у дел! Любопытно, что Панург убивает как бы свое «другое я» — незадачливого «турецкого пашу» по имени Бутрино, вспоминая при этом Вийона и его строки о прошлогоднем снеге. Сам образ Панурга содержит черты «мифологического буффонного Вийона»...

Попробуем — ради некоторого интереса — сравнить смысловые гнезда, сложившиеся в русском языке вокруг определений образцовых в своем роде «других/чужих». Итак — славянское «жид» — иудей, скряга, жадина, отверженный, презренный; но также и — сильный, крепкий (отсюда старославянское имя Жидо и старорусская былина о богатыре Жидовине и Жидовские ворота в средневековом Киеве). Обратимся теперь к понятию «цыган». Итак, цыган — бродяга, презренный, обманщик, плут, барышник, рыжий таракан, шумливый, но и — романтический скиталец (сравните французское *bohémian*), смуглый красавец; цыганочка — смуглая красивая девочка, девушка... Что же мы видим? Примерно то же, что и с понятием «бугр», с некоторыми вариациями. Но для того, чтобы подобные смысловые гнезда сложились, надо хотя бы какое-то время иметь, что называется, в наличии, реальных цыган, евреев или болгар-бугров! Вот, собственно, и всё пока что!..

# *Простое стихотворение про четверостишие*

... Исус на шаре — Вийон

*Дмитрий Авалиани*

Это было в одной из самых восточных на свете Бирюллий  
там  
где если у человека не выпытали сапожной иголкой  
из-под ногтей  
всю правду  
его не считают за мужика  
и если его самка  
не умерла от криминального аборта  
ее не почитают за бабу  
В самом южном на свете Хренове-Бутове  
где снег никогда не тает  
от остановки десятого троллейбуса  
до пяти километров через поле  
очень заснеженное поле  
до самого дома, который башня-близнец  
братьев Лимбургов  
Je suis François dont il me poise  
Ne de Paris emprés Pontoise  
Et de la corde d'une toise  
Sçaura mon col que mon cul poise  
— И слушайте как я это понимаю, — сказала я, —  
Вот слушайте  
Меня зовут Франсуа, что означает еще и  
подданный Иль-де-Франс  
француз  
И мне это тяжело  
И — ну конечно! — как это может быть легко  
в каком-нибудь таком Дранси

перед отправкой в Аушвиц  
когда все против тебя  
всё против тебя —  
оккупационные власти  
правительство в Виши  
полиция  
одноклассники в лицее и однокурсники в Сорбонне  
все против тебя  
все  
как Хлотарь и Дагобер против болгар Альцека  
И отдайте мою бедную душу — *ma pauvre ame* —  
моей Богоматери  
и отдайте мое тело — *mon corps* —  
нашей великой матери земле —  
*nostre grant mere la terre*  
А Богородица что́ есть, как мнишь?..  
великая мать сыра земля есть, и  
великая в том для человека заключается радость.  
И всякая тоска земная и всякая слеза земная —  
радость нам есть  
Отдайте  
Только не сжигайте  
И тяжело это тяжело —  
быть отдельным совсем чужим — *parcial suis* —  
и подчиняться общим вашим законам —  
*loys commun*  
и носить ваше имя  
и знать, что всё это не поможет  
потому что с самого своего рождения  
принадлежу я городу Парижу, где правит  
понтуазское правосудие  
А понтуазское правосудие —  
это правосудие маленького городка  
где на Рождество отпускают все грехи  
как перед смертью

потому что понтуазское правосудие —

это и есть несправедливый суд

в большом городе Париже

И вот —

маленьких три школяра — les trois écoliers —

отправились в школу в Париж

а им говорили: Не ходите через Понтуаз

а они пошли

И в Понтуазе их сразу схватили и посадили в тюрьму

и повесили, а они ни в чем не были виноваты

И звонит большой колокол и старший брат напрасно

мчится на своем добром коне

И эта жалобная песня поется в книге старинных

французских песен

Альбера Удри —

Albert Udry

И вот оно и есть —

понтуазское правосудие

в городе Париже

И вот потому

веревка скоро позволит бедной шее узнать

сколько весит бедная задница

потому что Париж возле Понтуаза — это такой Париж

где правит понтуазское несправосудие!

— А можно понимать по-другому? — спросил Андрей

— Можно, — сказала я, —

то есть понимать, как я, — можно! —

а по-другому все и понимают

почти все, — сказала я

Почти никто не понимает

потому что его обвинили несправедливо

потому что его оклеветали

Он терпит унижения в тюрьме

Его объявили вором

все глашатаи на площадях

на пятьсот лет и  
— Вот сволочи! — сказал Миша  
— Он никогда, — сказала я, —  
не отречется ни под какими пытками от своей веры  
предков своих  
людей на высоких повозках  
людей из самой далекой страны  
где растет инжир и верят в землю-мать  
— И вот уже более пятисот лет, — сказала я, —  
он пытается отстоять свое доброе имя, свою честь  
Он кричит, он доказывает, что не виноват  
И никто не слышит его  
И это поражает меня в самое сердце  
этот живой крик, этот тюремный голос  
который я слышу  
и вы тоже услышите  
И нет, не могу, слезы в глазах  
Я никогда не знала таких стихов  
только эти стихи  
А -rois и -tois так или иначе означают тяжесть  
И вот —  
вы еще не слышите?  
е-и-а-оу-о-и-е-о-и-е — тяжело!  
е-е-а-и-е-е-о-о-и-е — тяжело!  
— Вы слышите этот стон, плач, зов о помощи? —  
спросила я  
— Нет, — все ответили, — мы пока ничего не слышим  
— Только две последние строки мне никогда не  
нравились, — сказала я, —  
потому что если бы col и cul — шея и задница —  
не звучали бы на этом среднефранцузском  
средневековом языке  
так забавно почти одинаково  
он бы и писать не стал  
эти две последние строки



об этих двух частях  
своего тела

О!

наш бедный средневековый филолог  
в маске bon follastre и pauvre escollier

И я — нет — не люблю эти две последние строки  
потому что еще и Moniot поиграл в такое  
у него тоже катрен с окончаниями -oise  
и ce que le cul poise

это у него в Dit de Fortune

И с этими словами я вытерла тыльной стороной ладони глаза  
от слёз

— А в Je suis François он тоже поиграл? — спросил Андрей, —  
и в голосе у него сделалась враждебная мне

насмешливость

И я сказала: Нет. Его не звали Франсуа.

И сделала вид будто никакой враждебной мне

насмешливости

нет в голосе Андрея

— А почему только две первые строки? — спросил вдруг  
Миша

— Потому что она не любит две последние, —

сказал Андрей, —

в них поиграл Moniot. А ты ничего не расслышал

— Подумайте о нашем друге, — сказала я, —

подумайте о нем,

потому что ему очень трудно

ему нужно писать по правилам, какие были

и все-таки наперекор всем правилам говорить

что-то совсем свое

и еще и разрушать всё это здание

весь этот замок и всю эту крепость

французских стихов

Мы сидели в тесной кухне как положено

и старая облезлая табуретка и три венских стула

## Машиной бабушки

скрипели,  
если мы слишком сильно махали руками  
И Маша молчала

И я спросила:  
— Почему вы не слышите?  
Ведь это такой стон такой плач такое  
                        не знаю  
такое отчаяние такое  
Слышите? Слышите?  
Это такое отчаяние  
Слышите?

И они услышали  
Мужской голос, как растение раненое,  
                        клонится  
крик вопль  
                        бесконечно  
половину тысячи лет  
                        всегда  
от боли пыток  
от бессилия  
от беспомощности  
от невозможности  
голос

А мы напишем много стихов  
только в них не будет этого — половину тысячи лет —  
                        бесконечного стога

И значит и ничего нет в них  
От него останется этот вой, этот стон, этот плач  
А от нас ничего не останется  
И от вас ничего не останется

Он шутовски не прощал своих врагов и подставлял  
                        свое лицо для пощечин  
и тело для позорных побоев  
и уходил душою в нищету юродивого славянина

Андреоса из Царьграда

в нищету

где уже и не имел даже и чашки плоской

для сбора подаяния

даже и волос на голове, даже и бровей

даже и ничего

кроме пощечин его лицу и побоев его телу

и насмешек злых — его душе

— Разве так можно всё говорить! — сказал Миша. —

Вот и попал в тюрьму

— Это человек! — сказал Андрей, —

Это человек! Он пронзает собою этот мир,

эту жизнь

За каждым обличаемым грешником

за каждым епископом-палачом —

тысячи таких же

Памятник страшный каждому греху он воздвигает

пригвождая

И тогда я сказала Андрею:

— Он совсем не добрый человек

он даже и злой человек

Он любит только себя

— Ну, это неизвестно, — сказал Андрей. —

Откуда тебе это известно? — сказал Андрей,

уже настраиваясь, как будто какая-то скрипичная

виолончель

на возражения мне

— Неправда! — сказал Андрей. — Ты говоришь

неправду и сама в нее не веришь

я знаю

Потому что в себе он любит Спасителя жизни

Он просто верит

что его тело, его мысли и чувства, весь он —

живое вместилище Спасителя жизни

Люди неправедным судом судят его

и потому он судит людей  
чтобы не было больше на земле  
неправедных судов

И Миша спросил:

— Он кричит двумя строками? Дольше чем  
половину тысячи лет?

И Маша вдруг сказала:

— Он кричит всеми своими строками  
Не могу больше, — она сказала  
Не могу больше так жить. Я не выдержу, —  
она сказала

И мы должны были говорить очень громко  
потому что его крик, его плачущий вой  
был у нас в ушах

И Маша говорит всем нам и себе самой:

— Теперь я всё сделаю. Наконец...

И в ее словах раскидывается расплывается  
естественным образом

среднерусская равнина — пчела —  
среднерусская пчела —  
самая терпеливая и выносливая —  
учебник пасечника автора  
учебник

— Подумаем о нашем друге, — повторяю я, —  
подумаем о нашем друге

Только не слышно моего голоса  
потому что он кричит кричит

И это слышно слышно

— Так, — сказала Маша дрожащим голосом спокойно, —  
так, — она сказала. —

Он жив.

— Он должен быть жив, — она сказала, — потому что  
я так хочу!

И никогда еще я не слышала, чтобы она говорила  
так решительно,

так горделиво  
и странно

— Не надо, — сказала я, —

скоро умолкнет этот крик

Не надо

Его уже давно нет на свете

Ему уже не больно. Ничего уже не надо

И у меня сделалась такая тоска

и сердце стало в груди как будто камень

Но они мне не поверили, эти люди

Что они творят, когда я так устала

и мне всё равно?

Только не болеть и не умирать

а так — всё равно

— Да это ничего! — Миша говорит горячо

немножко запинаясь говорит, —

Да это ничего!

Да мы и не таких встречали выручали

ночевали согревали и кормили

и вином поили!

Скажите только нам, куда идти

Сейчас Мария соберет рюкзак

— Там вообще-то тюрьма, — говорю я, —

Здание большое и стража

— Тюреммы не видали мы что ли! — говорит Миша

— Придумаем что-нибудь решим, — говорит Андрей

И вот я

Вчера своим умом пыталась обнимать его,

но он сказал мне, что руками лучше

Ведь у него особенная статья —

метр девяносто сантиметров с половинкой

И Мишины метр и пятьдесят два сантиметра

— Я пойду, — сказала Маша

дрожащим голосом спокойно, —

я пойду не знаю куда.

Он кричит.

Я пойду.

— Нет, нет, — сказал Андрей. — Вы не сможете ничего  
сделать.

Там нужны мужские руки с оружием

— У тебя есть другое оружие, кроме того длинного,  
которое внизу? — спросила я

— У меня есть кинжал, — ответил Андрей  
и сделал вид будто не слышал насмешки в моем голосе

— И у меня есть кинжал, — сказал Миша

— Маша, у них есть два кинжала, — сказала я

— Не тревожьтесь, Маша, — Андрей говорит, —  
если он не сможет идти, я его на руках донесу

И это правда — Андрей однажды нес меня на руках  
на пятнадцатый этаж

— А-а на руках, — повторил Миша озабоченно-удивленно  
как будто догадался о чем-то  
и сам не знал, о чем

кого-то носил на руках таскал на закорках  
маленького совсем

— Сейчас я соберу рюкзак, — Маша говорит  
и ходит по комнате

то и дело прижимая пальцы к вискам

— ... чистую рубашку... — она говорит

— Вот, — она говорит, —

я кладу колбасу — нарезка —  
и батон

Покормите его там

*petite miche* и *froide eaue* — это не еда

— Не! — сказал Миша и чуть-чуть запнулся, —

Хлеб — это все-таки хлеб

— Батон свежий, — сказала Маша, — финики здесь, в пакете

— Сюда — валидол, — она сказала, — и на всякий

случай — кетанов, ношпа

— Вот куртка и теплые носки, — она сказала

— Конечно! Я старую надену, — заторопился Миша  
Они все были совершенно бесстрашные безбашенные  
люди  
уходящей натуры всемирной отзывчивости  
Люблю я их всех  
и одного, конечно, особенно  
Андрей надевает широкими взмахами длинных рук  
пальто и шляпу  
Я запахнула у него на груди кашне крест-накрест  
и сильнее закуталась в мою турецкую шаль  
Миша озабоченно натянул на уши вязаную шапку  
Маша стряхнула невидимые крошки с подола  
домашнего платья  
и сказала Андрею:  
— Андрей, вот шарф, —  
и положила в рюкзак еще один сверток  
и сказала Андрею:  
— Андрей!  
когда выйдете из Консьержери на улицу  
не забудьте отдать ему шарф  
чтобы он горло не застудил  
Не забудете?  
— Из Шатле, — поправила я  
— Не забудем, — сказал Андрей  
— В термосе — зеленый чай, — сказала Маша  
— Ты скажешь наконец, куда, в какую сторону  
нам идти?! — сказал мне Андрей. —  
Ведь там человек воет от тяжести смерти  
идушей на него, к нему  
и ждет помощи в своей немощи  
О! Если бы я знала, в какую сторону им идти  
— Туда, — говорю я  
показывая рукой куда-то  
— Андрей! — говорит Миша. — У тебя есть на такси,  
на повозку с большими

колесами  
на быстролетный самолет, на парижское метро  
на трех лихих верховых коней  
у тебя есть?

И они уходят, чтобы уехать  
они исчезают, чтобы улететь  
чтобы возвратиться вернуться  
и вернуть  
из какого-то смертного плена  
человека  
чьи косточки давно истлели  
а вот он вернется всё равно!

И настала тишина  
— Почему я не слышала так долго? — спрашивает меня Маша  
— Ты не слышала, — сказала я, — хотя ты вслушивалась  
всю жизнь  
в самые разные звуки жизни  
чтобы услышать

А я слышала  
потому что когда мыслишь логически  
о ком-то или о чем-то  
слышишь даже лучше, чем поэт  
даже лучше, чем мать!

— Ты мыслишь логически, как ты, — сказала Маша, —  
и значит — как никто, а только одна ты  
— Я могу открывать невидимые двери, — сказала я, —  
могу впускать отпускать  
посылать и возвращать

Но как ты я не могу  
потому что у меня нет того,  
кто есть у тебя!

— У меня есть он, — сказала Маша, —  
и это давно уже очень тяжело  
— Да, — сказала я, — муки родов —  
douleur amere и mainte tristesse



— Он тогда уже защитил диссертацию, — сказала Маша, —  
по «Никомаховой этике» Аристотеля  
Его схватили на улице святого Иакова, — сказала Маша, —  
я только вышла из церкви  
а уже и ничего нельзя было узнать  
город переменялся так быстро  
Ничего не бойся! — закричала я  
и бегу к нему  
А его уводят так быстро, так далеко  
Я бежала и вдруг смотрю — а никого нет  
и город совсем другой  
И Мишка стоит рядом и ничего не помнит  
— Вспомнит, — сказала я. — Они ведь похожи  
— Очень! — сказала Маша. — Маленькие оба  
смуглые  
волосы черные прямые  
Только у Мишки зеленые глаза  
а у него темные серые  
мои  
— Они должны узнать друг друга, — сказала я, —  
человек должен узнавать себя в зеркале  
в каком-то родном человеке  
— Так тяжело жить, — сказала Маша  
— Да, — сказала я, — всё это страшно и я не знаю  
— А я всегда помню, — сказала Маша. —  
Я живу с этим ножом в сердце  
и ничего не говорю  
молчу  
— И с того дня мне стало тяжело жить, — сказала она, —  
мне стало невозможно жить, — сказала она, —  
потому что я не знала, что делать  
И не у кого было спросить  
никто не мог помочь  
А я не могу прибежать к нему сквозь время  
оно — время —

оно как стена  
И только теперь он будет спасен  
Его убеждали, ему говорили:  
Признай, что тебя судят всего лишь за воровство  
и никакого смысла нет в твоих  
стихотворных писаниях  
кроме шутовства пустого  
Теперь я смогу услышать его голос  
его слова  
такие —  
Мне говорили, мне читали такую проповедь:  
каждая тварь спасает свою шкуру  
признай, что клевета о тебе — это такая правда,  
и будешь на свободе  
И тогда я замолчал,  
когда мне это сказали  
Меня пытали — я молчал  
Я не хочу умирать, признав, что я — вор  
Я не хочу умирать, признав клевету правдой  
Такие его слова  
— А помнишь, — сказала Маша, — как хорошо было  
с ним говорить  
— Ты ведь тоже там была, ты всё видела, —  
сказала она. —  
Ты говори мне, — сказала она, —  
так мне легче ждать, когда ты говоришь, —  
сказала она  
— А помнишь, — сказала я, — он пошел с другими  
мальчишками на дальний луг —  
собирать семечки горчицы  
и мальчишки все пели  
и он с ними пел  
А ты побежала искать его  
— Он был самый маленький из всех, — сказала Маша  
— А помнишь, зимой был такой холод, что

чернила замерзали в чернильнице, —  
сказала я

— И волки прибегали на улицы, — сказала Маша. —  
Я захожу к нему, а он спит одетый, — сказала Маша, —  
и башмаки не снял, — она сказала. —  
И листочки на столе, а я никогда не смотрела,  
что он пишет, —  
сказала она

— Ведь это было бы нехорошо с моей стороны, —  
сказала она

— Он тогда уже учился в университете, — сказала она

— А помнишь, ты написала в стихотворении,  
что ты похожа на химеру, —  
сказала я

— Это потому что он написал, что он похож  
на химеру, — сказала Маша

— Химера — это изображение чужеземца, — сказала я

— Он и есть чужеземец, — сказала Маша, —  
*plus megre que chimere* —  
более изможденный, чем химера  
это когда он вернулся после той, второй тюрьмы  
более — от слова, которое пишется: боль  
Ему было двадцать, он только закончил университет  
И не буду говорить

— И не надо, — сказала я

— Когда он был маленький, мне снился один  
сон, — сказала Маша, —  
мне снилось, будто я химера с крыльями  
и лечу низко  
над нашей улицей

и в меня кидают камни  
и надо прилететь, долететь до своего окна  
там ведь ждет мой птенец

Я бегу, убегаю от всех  
совсем лечу по улице страшной

протянутые руки вперед — химера — ветер  
химера с крыльями птичьими крылатая рыба  
Я хватаюсь когтями ногтями за карниз  
Мой птенец, мое спасение — там  
Я вижу его в самом высоком окне  
изможденный более  
это от слова, которое пишется: боль  
Он всегда плохо ест  
Не знаешь, чем его кормить  
Что ему дают в тюрьме?  
Только хлеб и воду?  
И здесь в буфете всегда кулек с финиками  
Если он придет вдруг  
вернется  
Он любит инжир и финики  
— А помнишь, он учил тебя набирать твои стихи  
на компьютере, —  
сказала я  
— А помнишь, он играл на виоле и наклонил голову  
и волосы вдруг упали ему на лицо. Ты помнишь? —  
сказала Маша  
— А помнишь, он домой не пришел ночью  
и ты ему потом что-то объясняла о презервативах, —  
сказала я. —  
А помнишь ту его балладу, где ты глупая и смешная  
старуха  
читать и писать не умеешь, даже букв не знаешь, —  
сказала я, —  
Помнишь, он издевался над тобой  
в той своей балладе  
Ты не обиделась тогда?  
— Я только засмеялась, — сказала Маша, —  
как можно на него обидеться!  
Он не издевался  
он просто упрекал меня

за то, что я отступилась от многого, во что он верил

Он был прав

Но он все равно любит меня

— И ведь ты это сделала, чтобы просить за него,  
чтобы спасти его, —  
сказала я

— И все равно он был прав, когда упрекал меня, —  
сказала Маша

И не надо мной он смеялся, а над церковью  
над церковной верой, пригодной лишь  
для смешной глупой старухи  
которая не знает букв, не умеет читать и писать  
и верит в ад и рай, нарисованные  
на церковной стенке

И это не я в его балладе  
это мать шутовская его шутовской маски  
для его стихов

Он во всем прав

Если ему так хочется, я разучусь читать и писать

— И писать стихи? — спросила я

— Да, конечно, — сказала Маша радостно, —

Наверно, я и вправду не умею ни читать, ни писать,  
если так в его стихотворении, в его балладе,  
а только и умею смотреть на церковные расписные стены  
и видеть нарисованные ад и рай

Я хочу, чтобы он услышал, как я говорю ему:

Прости меня за то, что я не умею спасать  
тебя из твоих бед

Я научусь!

Я стану твоим домом, твоей крепостью

я укрою твое тело и твою душу

даже от самой большой страшной опасности

— А помнишь, — сказала я, — ты купила ему пособие  
Дешана —  
как лучше складывать французские стихи

Ему было восемь лет и он всё время читал эту книжку  
и еще сказку про зверей  
— «Стефанит и Ихниллат» — сказала Маша, —  
притча про несправедливый львиный суд  
— А помнишь, ты учила его читать по-латыни, —  
сказала я, —  
и ему нравились ваши занятия  
для него это было как будто игра  
А отец читал ему громко вслух наизусть  
эподы и сатиры Горация  
— Ага, — сказала Маша, — когда приходил  
не сильно пьяный  
из таверны «Сосновая шишка» —  
и она стала тихонько смеяться

А я сказала:

— В те годы, когда культура щедро и доверительно  
раскрыла мальчику всю свою латынь —  
от Вергилия до Вульгаты  
и дальше  
и весь греческий, и всё тосканское наречие  
и весь его родной язык —  
от Кретьена де Труа до Гийома де Машо  
И ты уже не смеешься  
и всю теологию —  
от исповедальных слов Блаженного Августина  
до еретических толков  
Маргариты Поретанской  
И ты помнишь? Мальчик вырос и поджег всё это  
со всех сторон  
и усиливал огонь, размахивая Катарским требником  
О-о! Какой прекрасный погром он устроил  
французской средневековой культуре  
а заодно и цивилизации —  
его острый взгляд чужого  
его быстрая мысль

А какой последний прекрасный удар нанес он Парижу  
преобразив в своих балладах столицу в новый Содом  
в город, где говорят на языке воров,  
в город между притоном и виселицей,  
в город, где живут одни только разбойники,  
стражники, шлюхи и лохи

— И не напоминай, — сказала Маша

— Ничего, — сказала я, —

скоро всё плохое кончится, — сказала я

— Жизнь не может кончиться, — сказала Маша, —

Такой маленький, — сказала она, —

такой худой, как фигурка химеры на церковной

крыше, — сказала она, —

кто бы мог подумать, что он такое напишет, —

сказала она печально и с гордостью. —

Что они с ним сделали, — сказала она, —

они без конца клеветали на него

они хотели, чтобы он умер оклеветанным,

на виселице,

как вор!

Чтобы его запомнили таким

они все хотели

хотели

Он такой маленький худой

а вокруг столько унижений для него

столько клеветы, столько мучений

столько боли для него

И я не сумела защитить его как надо

— Как же он бился насмерть за свою честь,

за свое доброе имя, — сказала я, —

И все-таки он сжег, он сжег

И все-таки погром, дикарство

близорукие глаза чужого, усталые от книг

видящие всё!

— И на этом выжженном поле выросла совсем новая

культура, —  
сказала Маша  
— и совсем всегдашняя старая цивилизация, — сказала я  
— Но как же он там, снова в тюрьме, — сказала Маша, —  
без своих очков — lunettes, без своей ma librairie —  
сундука с книгами  
это невозможно — такое его мучение  
это ведь для него хуже, чем без еды и питья  
— Он создал, — сказала она, — нет, он воссоздал  
в своих стихах  
ад  
страшнее Дантовой преисподней  
потому что ад, где мучили моего мальчика, —  
это ад обыденной, самой обыденной жизни  
самый страшный ад  
преисподняя повседневия  
ад ежедневной жизни,  
той, что бывает каждый день  
И я проследила за ее взглядом и увидела,  
что она отчаянно смотрит на чашки  
за стеклом старого буфета  
белые, в красный горошек  
И вот человек  
тихий книгочей  
кричащий в своих стихах  
разрывающий одежду на своем худом больном теле  
догола  
юродивый  
бегущий в кабак и в лупанар  
за побоями поношениями  
и уже мы знаем — плешивый безбровый  
без тарелочки для сбора подаяния монет мелких  
уже совершенство  
уже накормивший пятью хлебами



уже не носящий своего тела  
уже не понятый теми, на которых языке  
своем родном несмотря ни на что  
писал кричал  
словами:

В своей стране я в далекой земле!

кричал

А города всё еще стоят

и цивилизации и культуры всё еще нуждаются  
в погромах стихами горячими  
горючими

И я сказала Маше

сказала:

— Если у меня нет того, кто есть у тебя,  
тогда я не могу просить о каком-нибудь милосердии  
Я всё время думаю,  
что ведь ты не можешь понять меня,  
а только утешать

Я не могу молиться

Той, которая отказала мне в милости, —  
сказала я

— И не надо так думать, — сказала Маша, —  
ведь это благодаря тебе он вернется  
это у тебя такой дар

Тогда я закрыла глаза ладонями и заплакала

— Этот, — сказала я, всхлипывая, и отняла от глаз  
ладони, —

Этот мне говорит однажды:

Ты не человек, у тебя детей нет  
— Козел, — сказала Маша, — Разве можно так мучить  
— Нет, — сказала я, — не хотел обидеть.

Просто у него нечаянно правда вырвалась

А мучить — надо

И тогда Маша поцеловала меня в мокрую щеку

— Не надо плакать, — сказала она, —  
Я знаю, утешать бесполезно, — сказала она, —  
И все равно — не надо плакать  
И она уходит на кухню —  
жарить курицу и варить куриный бульон  
потому что усталому родному,  
который вернется,  
надо поесть  
И в комнате она перестилает постель на кровати  
стелет чисто выстиранную простыню  
для него  
в его комнате  
которая всегда оставалась его  
И стрелки часов на стене уходят в полный круг  
очень быстрой  
Часы стучат  
Рыжий кот приходит из кухни  
Тихость отступает  
Снова раздается человеческий крик  
и взлетает и прерывается  
И теперь слышны только невнятные голоса, громкий  
шум и тихие шепоты  
и — тук-тук — ход поезда  
который летит из Парижа  
И Маша быстро идет открывать дверь  
И сейчас войдет смертельный гость  
чтобы остаться  
И у меня сердце стучит от ужаса  
Но эти бесстрашные люди ничего не боятся  
им не страшно  
ему, наверно, тоже  
Люблю я их всех  
Гость сейчас войдет и останется  
и она его обнимет

— Машуня, радуйся! — кричит Миша, — радуйся, он  
с нами

И Андрей зовет меня:

— Моя хорошая, я вернулся!

И Миша кричит:

— Машуня, дай деньги

деньги

надо за такси

я сейчас сбегаяю

у нас нет

мы пиво купили

и коньяк

— Я иду, — говорит Мария, —

Да, — говорит Мария, —

когда он умирал только рожденный, — говорит Мария, —

только подобный первой букве на белой

с желтизной странице

первой букве, готически выведенной

переписчиком книг

и я сказала моей Соименнице, моей тезке:

Ты не отдала своего Сына, и я не отдам своего!

И Она пришла огненным шаром ко мне и сказала:

Так будет, Мария, твой сын...

И наутро он выздоровел

тянул ко мне маленькие руки и смеялся

И страницы — одна за одной —

буквами заполнились

мистерия бытия жития моего сына

Свой путь он прошел до конца и теперь может

вернуться

Гость входит, чтобы вернуться

чтобы остаться

Гость входит живой

и его обнимает мать

— Мой сын  
    мои слезы  
        мое искупление...

---

В этом стихотворении варьируются — естественно! — стихи Франсуа Вийона и два стихотворения Марии Ходаковой: «...С расправленными крыльями-руками...» и «...Когда ребенок умирал в больнице...»

# Простое повторное стихотворение

Андрею, Тосе, Тиму Хайнсу

И немножко очень кошунственное непонятно что...

И

После Освенцима нельзя писать стихи

После того, как пообедаешь с Теодором Адорно,  
стихи писать нельзя-а...

Нельзя, нельзя, нельзя!

Ну, так,

я начинаю стихотворение

Вы слушайте.

Давным-давно уже исчезнут вдруг все люди

Уже погасло электричество почти навеки

и тараканы умерли от голода

в покинутых людских домах

Так хорошо без человека на земле!

Кругом деревья зеленеют и трава растет

И все живые существа живут спокойно

и кушают друг друга в меру

и трамваев не изобретают

Летит орнитохеус шумнокрылый

Орнитохеус очень редкий долетает

до середины этой речки-океана

взмахнет большими динозавровыми крыльями

зубастым длинным клювом щелкнет громко-громко

и быстро-быстро полетит назад

Река огромная, конечно

Он летит

Он старый

И его совсем уже не любят

птицы-ящерицы-женщины

не выбирают больше

Он сидит нахохленный на дереве высоком

на высокой ветке  
А внизу большие рыбы ходят  
в большой речной воде  
И никакого нет названия у этой речки-океана  
она никак не называется  
ее название совсем не нужно рыбам  
орнитохеусу и птеродактилю не нужно тоже  
Но ведь очень скучно без названий  
без человека очень скучно на земле  
И над большой и травяной землей летит орнитохеус высоко  
Внизу повсюду мощными стадами выбредают  
динозавры  
прыжками прыгают  
и медленно выпячивают золотые тени  
едят деревья  
очень вкусные деревья  
и сильно пугают от этих вкусных съеденных деревьев  
Но вдруг навстречу жизни распускаются огромные  
и белые цветы  
их сразу опыляют осы —  
каждая величиной с большую птицу  
орлиную  
и сразу очень пахнет нежностью цветочной  
И пахнут сильной шумной вонью динозавры  
и страшно сильно полнят воздух мощной сладостью  
огромные цветы  
большим цветочным духом  
и дыханием огромного дождя  
огромным океановым дыханьем  
И огромные и треугольные чешуйчатые крылья  
несут орнитохеуса вперед  
А все-таки без человека скучно!  
Хотя бы пробежался кто-нибудь в плаще из легкой  
шкуры леопарда  
хотя бы засмеялся и заговорил  
войну бы развязал с другими племенами  
победно застучал бы в барабан и в бубен  
затанцевал бы на песке, утопанном его ногами

и произнес бы тихим голосом:

«Какая красота в природе!»

Ой, как без человека скучно!

Если бы вы знали!

А вот и человек идет!

Младая незнакомая людина

по имени Бабенко Антонина

Солнечная плещется вода

И девушка идет в купальнике без верха

в красивых красных узких трусиках

так медленно ступает

так медленно ступает длинными красивыми ногами

так медленно ступает босиком

так медленно

ведь надо чувствовать песок стопой легкой

и маленькими пальцами красивых стройных ног

И эту солнечную ветреность ведь надо чувствовать

горячим голым телом

и наготою грудью дёвичьей

Каштановые шелковые волосы раскинула на плечи гладкие

приласканные солнцем

раскинула каштановую гриву кентаврицы-девушки

Она идет,

а в дёвичьей гортани

припевно плещется единственный язык,

в котором странное слово «человек» —

женского рода

И потому зарифмовать «свобода» —

возможно...

Ветер-ветерок навстречу

От солнца яркого зажмуришься

увидишь греческий корабль-триеру

увидишь Геродота на корме

— Вот Борисфен! — раскидывает руки Геродот —

О ти кала пу инэ!

Наконец-то!

Как хорошо!

Навстречу Нереида

спешит по мягкому горячему песку  
— Ни! Это Днепр! — смеется Тося Геродоту  
И вот уже навстречу Борисфену  
который Днепр  
вдруг выплывает челн  
Гостяты бар Когена  
он в Каир везет письмо  
Река не плачет больше никогда!  
Зеленые и пестрые сады гуляют  
И соловей  
поет, как Натали Десей  
Как хорошо!  
Теперь повсюду боги дышат  
Всё как-то называется  
Трезубец вскидывает Посейдон  
Перун усы такие золотые брови хмурит  
Богини все качаются на пестрых вóлнах  
Всё как-то называется  
Тебя зовут Андрей,  
меня зовут Марина  
Ой, речка Днепр,  
ты долгий длинный океан!  
Тебя зовут, наверно, Борисфен!  
Ты Борисфен! Тебя зовут, наверно, Днепр!  
Ты долгий длинный синий океан...  
И никому ни строчки не внушая,  
о том,  
какая здесь кругом  
растет взаимосвязь,  
гуляет океан,  
река идет,  
река течет большая  
Река не плачет,  
и течет, смеясь!..  
И мы случайно прилетим в космической ракете на планету,  
которая зовется Гея,  
потому что мы хотели прилететь!  
Разверзлась потому что бездна —



очень страшно! —  
кто близко подойдет и сразу в бездну —  
бух!

Но мы ее огородили, написали,  
что здесь ходить пока совсем нельзя!..

Не!  
Вся я не умру!  
Возьму и не умру!  
И вы не умирайте,  
если не хотите!  
Мы здесь работаем,  
заделываем бездну,  
чтобы никто не падал больше в эту бездну!  
Мы кирпичи таскаем  
и бетон песочный месим  
Вон Коля Федоров идет с лопатой  
Вон Гераклит с киркою к нам бежит  
Скорей! Скорее!  
Присоединяйтесь!  
Вон Маша Ходакова,  
как всегда,  
на коромысле нам несет живую воду,  
живую воду в оцинкованном ведре,  
плескучую...

А если мои глаза больше не будут видеть?  
Нет...  
Вот...  
маленькое смешное стихотворение

Он был плезиодапис  
предок человека  
А я была тираннозавр  
немножко страшный  
Мы были счастливы,  
но многое мешало —  
метеоритные дожди,  
другие разные живые существа,  
которые кусались,  
а также климатическая муть

И вот однажды  
я исчезаю  
Он, конечно, остается  
Он видоизменяется  
теряет хвост пушистый  
изобретает колесо, бумагу,  
кинематограф,  
клепци,  
пишет много книг  
И мой скелет однажды раскопав,  
он поместил в музей  
И часто он приходит  
и смотрит на меня, и думает о чем-то  
Наверно, любит все еще...  
И вот и одна линия точек

.....  
Я надела босоножки и одну минуту думала,  
что я не такая, как сейчас,  
а молодая

И неужели никогда  
нельзя будет идти живыми легкими ногами  
бежать  
бежать по лестнице  
легко-легко  
по этим каменным ступенькам  
без костылей  
без палки  
только не кому-нибудь  
легко-легко бежать  
а мне

И неужели никогда  
нельзя будет опять кого-нибудь любить  
но не кого-нибудь —  
не надо! —  
а тебя!

И не так, чтобы вдруг становилось,  
делалось удивительно больно в груди,  
где косточка,

и удивляюсь тихо-тихо,  
что вот может быть боль такая...  
Не так, и не так,  
а чтобы опять бежать легко, и кататься  
на речном кораблике,  
и чтобы ты нес меня на руках...  
Послушай!  
Вот что я тебе скажу,  
Андрей!  
Когда-нибудь, когда не будет нас,  
тебя, меня  
и всех других,  
которые сегодня живы,  
а маленькая Тося,  
молодая Антонина  
чужая девочка  
войдет старухой сановитою в какую-то другую жизнь,  
которую ни ты, ни я, мы не узнаем  
и не узнаем вечно  
не узнаем никогда!..  
Но это ведь неправда!  
Этого не может быть!  
Мы будем жить всегда  
И вечно молодая Антонина  
всегда у нас все время будет вызывать  
приятное и очень горестное чувство  
зависти и любованья...  
И нет!  
Мы тоже будем вечно молодыми...  
И чтобы ты нес меня на руках...

# Содержание

Виктор Іванів. <i>Вспоминая забытое доказательство</i> .....	5
Явление Тангра .....	11
<b>АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ</b>	
Андрей Иванович возвращается домой .....	17
Памяти Бориса .....	31
Археология .....	35
Пушкин .....	45
Чувствительный волгарь .....	53
Вариант рабфака .....	65
Простое стихотворение о часах .....	74
<b>ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СВАНУ</b>	
По направлению к Свану .....	85
Каждое встречаение улыбкой .....	114
Смерть Эзопа .....	127
Версия крысолова .....	136
Посвящение подруге .....	159
Подарок моему отцу, или Очень хорошая Клеопатра .....	167
<b>ТРИВИАЛЬНАЯ ПЕСНЯ О ГОСУДАРСТВЕ</b>	
Тривиальная песня о государстве .....	181
Тривиальное стихотворение о пьесе .....	189
Сказание о Болгарском Перце .....	224
Синеглазый Турок .....	240
Вантр де Пари .....	250
<b>ЧЕТЫРЁХЛИСТНИК ДЛЯ МОЕГО ОТЦА</b>	
Введение Франсуа Вийона в мои стихотворения .....	257
Моя Вийонада .....	264

Молитва, сложенная дочерью Вийона ..... 296

Дочь Вийона ..... 299

Примечания ..... 344

Простое стихотворение про четверостишие ..... 349

Простое повторное стихотворение ..... 373

*Фаина Гримберг*  
Четырехлистник для моего отца  
Стихотворения

Дизайнер обложки *Т. Ларина*  
Редактор *Д. Кузьмин*  
Корректор *Л. Иванова*  
Компьютерная верстка *М. Терещенко*

Налоговая льгота — общероссийский  
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала  
“Новое литературное обозрение”  
Адрес редакции:  
129626, Москва  
а/я 55  
Тел./факс: (495)229-91-03  
e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)  
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84×108<sup>1/32</sup>  
Бумага офсетная № 1  
Печ. л. 12. Тираж 500. Заказ № 3159

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

## Книги и журналы «Нового литературного обозрения»

можно приобрести в интернет-магазине издательства

[www.nlobooks.mags.ru](http://www.nlobooks.mags.ru)

и в следующих книжных магазинах:

### в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, 959-20-94
- «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры «Гараж»), 645-05-21
- «Гилея» — Тверской бульвар, 9 (помещение Московского музея современного искусства), (495) 925-81-66
- Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
- «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01, (495) 780-33-70
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «Проект ОГИ» — Потаповский пер., 8/12, стр. 2, (495) 627-56-09
- «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
- «У Кентавра» — ул. Чаянова, д.15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического Музея), 628-64-42, 628-62-48
- «Dodo Magic Bookgoot» — Рождественский бульвар, 10/7, (495) 628-67-38
- «Jabberwocky Magic Bookgoot» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
- Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
  - Киоск № 1 в здании Института истории РАН — ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
  - «Книжная лавка историка» в РГАСПИ — Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
  - «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН — Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81

- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
- Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского музея современного искусства)

#### в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 275-05-21
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворик у Римско-католического собора Святой Екатерины), (921) 655-64-04
- «Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре современной литературы и искусства), (812) 328-67-08
- «КнигиПодарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
- «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул., 20; Московский пр., 165, (812) 310-44-87
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
- «Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской, пр. Обуховской обороны, 105
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
- Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47



**RUS 891.71 G**  
**Grimberg, Faina.**  
**Chetyrekhlistnik dlia moego**  
**ottsa**  
**ocn807806947**

Brooklyn Public Library



3 4444 88931 3466

Я всегда настаивала на том, что поэзия — не литература. Это на самом деле так. А вот Фаине Гримберг совершенно непонятным образом удается превращать литературу в поэзию. Наверное, поэтическая ДНК Фаины действует немолимо и вопреки Фаине-литератору.

*Наталья Азарова*

Фаина Гримберг обладает выраженным музыкальным даром, нечастым в русской поэзии, примороженной силаботоническими изотермами. Ей удастся невероятное: чисто повествовательное, прозаически-банальное превращать в субстрат высокого лиризма, когда все «казусы» долгоговорения начинают работать на нее. Тавтология оборачивается минималистическим тревожным канонем, банальные пересказы чужих «историй про кого-то» вытаскиваются в прекрасные эмпирии, и сам язык, аккуратный и вежливый, вдруг становится хамелеонным, захватывающим мир, до которого могут дотянуться русские слова,брошенные в эфир.

*Николай Кононов*

Brooklyn  
Public  
Library

Please return to Brooklyn Public Library

To find your nearest library, visit  
[www.brooklynpubliclibrary.org](http://www.brooklynpubliclibrary.org)  
or call 718.230.2100.

1241 LB (08.24.06)

ISBN 978-5-86793-977-9



9 785867 939779